

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

**Сказна
о глупом Галилее,
рассказ о простой труженице,
песня о дворовой собаке
и много чего еще**



Владимир Николаевич Войнович

Сказка о глупом Галилее (сборник)

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=144627
Сказка о глупом Галилее (сборник): Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-39557-6*

Аннотация

«Сказка о глупом Галилее» – новый сборник фельетонов, стихов, пьес и сказок великолепного мастера антиутопии и иносказания Владимира Войновича. Острый язык и точные образы, ироничное высмеивание человеческих пороков и извечных «бед России» делают книгу многоголосой и яркой. В ней есть место и смеху, и философской притче. Автор бессмертного Чонкина видит столько смешного и яркого в обыденном, что невозможно не засмеяться от души!

Содержание

Владычица	4
Запах шоколада	36
В кругу друзей	41
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Владимир Войнович

СКАЗКА О ГЛУПОМ ГАЛИЛЕЕ,

рассказ о простой труженице,

песня о дворовой собаке

и много чего еще

Владычица

Эту историю слышал я от многих людей. Одни говорили, что все это случилось давным-давно, не то в тринадцатом, не то в четырнадцатом веке, где-то в Сибири, другие – на Волге, а старики стояли на том, будто это произошло на Севере, у холодного моря. Я поверил старикам и представил себе, как это все было.

Между морем и лесом стояла деревня. Лето здесь было короткое, земля скудная, и люди занимались в основном охотой и рыбной ловлей.

Правил людьми некий Дух, хозяин моря и леса. Он помогал им в охоте и в рыбной ловле, защищал от злых сил, от голода и болезней и строго наказывал за отступничество.

А для осуществления воли его был на земле у Духа свой представитель – его жена, Владычица, которую выбирали для Духа старейшие и мудрейшие. Жила она в высоком тереме, стоявшем в стороне от деревни, и люди ходили к ней со своими горестями и радостями, просили совета в трудных случаях, благодарили подарками за удачу.

Но Владычица была смертна, как и простые люди, и, когда она умирала, старейшие и мудрейшие подыскивали ей замену, отбирали из молоденьких девушек самую красивую, самую ловкую и, конечно же, самую умную.

Стоял солнечный, веселый весенний день. В полуразвалившемся стогу сена недалеко от деревни сидели Манька и Гринька и, пользуясь тем, что никто их не видит, обнимались и целовались без всякой меры. Но когда Гринька позволил своим рукам лишнее, Манька его оттолкнула.

– Ты чего? – спросила она сердито.

– А чего? – сказал Гринька, смутившись. – Я ничего.

– Ну да – ничего. Гулять гуляй, а рукам воли не давай.

– Да я ведь так просто... – Гринька искал слово, – по-соседски.

Манька засмеялась и шутя стукнула его по голове.

– Вот дурак, скажет тоже. Разве ж по-соседски лазют куда не след?

– А куда лазют? – невинно поинтересовался Гринька.

Манька отвернулась от него, запрокинула голову, подставляя лицо теплему весеннему солнцу.

– А и правда ты непутевый. Не зря тебя дразнят так.

– Ну уж прямо сразу и непутевый, – возразил Гринька. – А у путевых откуль дети родятся?

– Вот язык! Несет, сам не знает чего. Нет, Гринюшка, я так не хочу.

– А как хочешь? – поинтересовался Гринька.

– Хочу, чтоб все было как у людей. Чтоб свадьба была на всю деревню, чтоб брагу пили, чтоб песни пели. Хочу быть женой.

– Да я что, я разве против? – сказал Гринька. – Я уже с тяткой обо всем договорился. Вот в море по рыбу ходим, засылаю сразу к тебе сватов, и идем к Владычице под святое благословение.

– Правда? – обрадовалась Манька.

– Что ж я врать буду?

Манька коснулась своим плечом плеча Гриньки. Гринька, не теряя времени даром, тут же вцепился в Маньку. Но Манька была начеку и, чтоб дело не заходило слишком далеко, опять оттолкнула Гриньку.

– А ты как, сразу и ко мне, и к Анчутке косой свататься будешь или по очереди? – спросила она.

– А при чем тут Анчутка? – удивился Гринька.

– Как будто я не видала, как ты вчера с ней на завалинке лапался.

– Да это ж я так, – смутился Гринька, – ну от нечего делать.

– По-соседски, – скосила глаз Манька.

– Ну да.

– Ну и слезай отседова, – рассердилась Манька. – Иди к своей косой и хоть лапай ее перелапай, а здесь нечего сено чужое толочь.

Она опять от него отвернулась. Гринька сидел надувшись, но слезать с сена не собирался.

– Слышь, Манька, – сказал он ей, помолчав, – ты это... Да и кто она есть, коль сравнить с тобой? Страшилище, да и все.

– А еще кто? – спросила Манька.

– Косая, – с готовностью ответил он.

– А еще?

– Рябая.

– А еще? – потребовала Манька.

– Горбатая, – ляпнул Гринька, ничего не придумав.

– Ну зачем уж лишнее говорить! – ласково упрекнула она, придвигаясь к Гриньке.

Гринька, осмелев, опять полез обниматься, но она, вдруг испугавшись чего-то, ткнула его лицом в сено, сама упала рядом и затаилась.

Со стороны деревни к стогу подошла маленькая пожилая женщина с темным лицом. Это была Манькина мать – Авдотья.

– Манька! – позвала она, задрав голову к стогу.

Ей никто не ответил.

– Манька, слышь, что ли, нечистый тебя заешь! – Она схватила торчавшую из сена Манькину ногу и потащила к себе.

Вместе с Манькой сполз Гринька. Они стояли перед Манькиной матерью, осыпанные сеном, и смущенно переминались с ноги на ногу. Авдотья посмотрела на них грустно, но без укора и, едва разжав губы, тихо сказала:

– Матушка, наша Владычица, преставилась нынче в обед.

Авдотья повернулась и пошла обратно к деревне.

В стороне от деревни, ближе к морю, стоял высокий, огороженный забором терем – жилье Владычицы. Вдоль аккуратной дорожки, между теремом и калиткой, выстроились в два ряда старухи, одетые в черное. Народ толпился снаружи, налегая на забор. Тут же ходил горбатый мужик, покрикивая:

– Эй, народ, не толпись! Осади, окаянные, вы же забор повалите!

К Гринькиному отцу Мокею подошел сосед Фома. Спросил тихо:

– Ну, что слыхать?

– Говорят, обмыли, обрядили, выносить будут, – отвечает Мокей.

– Ой, не вовремя это все! Кабы зимой... А то ведь хлеб сеять надо, в море по рыбу надо идтить, Афанасьич на завтра наказывал лодки готовить, а теперь что ж?

– А у меня, слышь, тоже вот все прахом пошло, – признался Мокей. – Гриньку я соби-
рался женить. Время горячее, хозяйка нужна, а теперь все откладывает – когда это будет новая
Владычица! Да и будет ли?

Сквозь толпу пробирался Гринька, отыскивая глазом кого-то, должно быть Маньку, и
наткнулся на двух старух, которые вполголоса толковали между собой, обсуждая подробно-
сти:

– Два дня у ней жар был и поясницу ломило, а вчера до свету еще поднялась, вышла на
крылечко. Тут к ней Никитка подошел, она его заговорила от дурного глаза. А нянька Мат-
рена ей еще говорит: «Вот, матушка, поднялась ты все же. Авось и пройдет». А она говорит:
«Нет, Матренушка, не пройдет. Чую я, святой Дух зовет уж меня к себе, требует. Слышь, все
шумит, шумит». Матрена послушала, а чего она может услышать? Если он и шумит, так не
для нас же. Сказала так матушка, а сама поднялась и еще говорит: «Каши хочу пшенной с
молоком». И пошла к себе в покои. Матрена каши наварила, приносит...

Гринька протиснулся к говорившей старухе:

– Какой, бабушка, каши?

– Пшенной, милок, пшенной, – заискивающе заулыбалась старуха. – Я-то сама не знаю,
народ говорит, будто пшенной.

– А улыбаешься ты чего? – спросил Гринька. – Весело, что ли?

Старуха быстро согнала улыбку и поспешно изобразила на лице своем скорбное выра-
жение.

– Вот так, – сказал Гринька. – Так красивей.

В это самое время Манька стояла чуть поодаль, уткнувшись носом в забор, и смотрела
в дырку от выпавшего сучка. В дырке видна была часть двора, где под аккуратно сложенной
поленницей лежала сонная клуша с выводком желтых цыплят. Мимо прошлепали чьи-то
босые ноги, клуша забеспокоилась, подняла голову, но ноги прошли, и она снова впала в
дремоту. Подошел кто-то сзади идохнул прямо в ухо:

– Слышь, Манька, дай поглядеть.

Манька, не оборачиваясь, узнала Анчутку Лукову.

– Уйди, – сказала Манька, пихая Анчутку плечом.

– Слышь, Манька, ну пусти, хоть одним глазком, – тон у Анчутки смиренный, проси-
тельный.

Но Манька не удержалась, съязвила:

– Да куды ж тебе им глядеть? Глазок-то у тебя косой.

– А у тебя не косой? – теперь Анчутка пихнула Маньку плечом.

– А у меня не косой, – Манька пихнула ее обратно.

– А у тебя ноги кривые, – снова толкнула Анчутка.

– У меня кривые? – возмутилась Манька. – На вот, погляди, где у меня кривые?

Анчутка стала приседать и подпрыгивать.

– А вот и кривые, кривые, кривые...

С диким воплем Манька вцепилась сопернице в волосы. Та ответила тем же. Обе пова-
лились на землю, стали барахтаться. Манька ухватила Анчутку за ухо, а Анчутка Маньке
укусила плечо.

Толпа разделилась. Часть по-прежнему ожидала выноса тела, другая наблюдала за
поединком. Раздавались возгласы и советы.

– Дави ее, Манька, дави.

– Анчутка, не поддавайся.

– Манька, ухо оторвешь – не выбрасывай, засолим.

– Анчутка, кусай ее за нос.

Подлетела мать Маньки.

– Да вы что, оглашенные? Манька, слышь, ты чего это удумала? В такой-то день! А ты, зараза косая! – Она схватила Анчутку за руку и потянула к себе.

Подросла и мать Анчутки.

– Это кто косая, кто косая? – закричала она. – Моя девка косая?

– А то какая ж?

Тут мать Анчутки кинулась с воплем на мать Маньки, и в это время кто-то закричал:

– Несут! Несут!

Подбежал горбатый мужик:

– Несут. Слышите, что ля! Да что же вы тут сцепились, чтоб на вас болячка напала!

Кое-как ему удалось разнять дерущихся. Они поднялись с земли, сразу вытянулись, придавая лицам своим чинное выражение. Только Манька не удержалась и шепотом сказала Анчутке:

– Вот я тебе уже всю морду в кровь раздеру.

– Еще посмотрим, кто кому, – так же шепотом ответила ей Анчутка.

Дверь терема отворилась, сперва показался Афанасьич, высокий старик с белой окладистой бородкой, а за ним мужики, которые на специальных черных носилках несли покойницу, обряженную в белое. И сразу вступил в дело хор старух, стоявших вдоль дорожки. Старуха, стоявшая на правом фланге, запевала, а остальные подхватывали:

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
– Я весной взошла, летом выросла,
Я весной цвела, летом вызрела.
– Под тобою ли, под рябинушкой,
Что не мак цветет, не трава растет,
Не трава растет, не огонь горит,
Растекаются слезы горючие.
А кипят они, что смола кипит,
По душе ль, душе-лебедушке,
По лебедушке, по голубушке,
По голубушке нашей матушке,
Нашей матушке да Владычице.
Улетела ты, что кукушечка,
Разорила ты тепло гнездушко
И оставила своих детушек,
Своих детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березничку,
По часту леску, по орешничку.
Как заплачут твои кукунятушки:
«На кого же нас ты оставила?
На кого же нас ты спокинула?
Воротись-ко к нам, своим детушкам,
Воротися к нам в тепло гнездушко,
Не лети на чужу дальнюю сторону,

Дальню сторону, незнакомую».

Толпа зарыдала. Женщины заламывали руки, падали, бились, причитая, о землю.

Процессия двигалась в сторону кладбища, которое расположено возле самого моря.

Чуть поодаль от кладбища вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним холмом – свежевырытая могила.

– Сюда кладите, – приказал Афанасьич, и носилки опустили рядом с могилой.

Старик первый приложился губами ко лбу покойницы и отошел, освобождая место другим. За ним вереницей пошли остальные.

Где-то в хвосте этой очереди двигалась Манька с матерью.

– Мамонька, – спросила дочь, – а как же мы теперь без Владычицы будем жить?

Она задала этот вопрос громко, и мать испуганно дернула ее за рукав. Потом вполголоса объяснила:

– А мы без нее не будем. Это тело ее сносилось, а душа осталась живая. Дух Святой из нее душу вынул и в другое, молодое тело вселил.

– А где ж это тело? – недоверчиво спросила Манька.

– Где-то здесь, – убежденно сказала Авдотья. – Завтра, должно, вызнание начнется.

– А как это можно вызнать?

– Молчи! – оборвала ее Авдотья.

Подошла их очередь. Авдотья опустилась на колени, приложилась ко лбу Владычицы и уступила место дочери.

Они отошли в сторону. Прошло еще несколько человек. Снова выступил вперед высокий старик и приказал:

– Опускайте!

Подбежали четыре мужика, подвели под носилки жгуты из длинных вышитых полотенец.

Хор старух, выстроившись в стороне от могилы, затянул новую песню:

Со восточной со сторонушки
Подымались да ветры буйные
Со громами со гремучими,
Со молоньями да с палючими;
Пала с небеси звезда
Все на матушкину на могилушку.
Расшиби-ка ты, громовая стрела,
Расшиби-ка ты мать – сыры землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны,
Скройся-ка да гробова доска,
Распахнитесь да белы саваны,
Отвалитесь да ручки белыя
От ретива от сердечушки,
Разожмитесь да уста сахарные!
Обернись-кося да наша матушка
Тут перелетною да соколицею,
Ты слетай-кося да на сине море.
На сине море да Хвалынское,
Ты обмойка-ка, родна матушка,
С белого лица ржавщину,

Прилети-ка ты, наша матушка,
На свой ет да на высок терем,
Все под кутеси да под окошечко,
Ты послушай-ка, родимая матушка,
Горе горьких наших песенок.

И снова зарыдала толпа. Афанасьич первым бросил в могилу горсть земли. За ним прошли остальные по несколько раз, пока не вырос над могилой небольшой холм.

Утром ходил по деревне горбатый мужик, собирал народ:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди, будем пить и гулять, Владычицу визнавать!
Эй, народ, выходи...

На деревне заканчивались последние приготовления к торжеству. Топились бани, шипели в утюгах угли, из сундуков вынимались самые лучшие сарафаны и ленты. Распаренные, красные, взволнованные девки и не меньше их взволнованные матери носились по дворам, суестились – событие предстояло серьезное.

Вот Анчутка только что после бани придирчиво осматривает свой наряд, одеваясь с помощью матери. Вот на другом дворе какая-то девка застыла над бочкой с водой, пытается разглядеть свое отражение, поправляет прическу.

Некрасивое, нескладное существо стоит посреди избы, напялив на себя все, что можно. Ее мать сидит на лавке и не скрывает своего полного восхищения:

– Уж какая красавица, какая красавица! – радуется она. – А уж зубы, ну чистый жемчуг!
«Красавица» самодовольно улыбается.

Тем временем на опушке леса в ожидании предстоящего торжества собирались жители деревни: мужики, бабы, дети.

Два здоровых парня притащили большой неструганый стол и опрокинутую на него лавку. Подошли Афанасьич с Матреной, нянькой Владычицы.

– А сама Владычица перед смертью ничего не говорила, не намекала? – допытывался старик у Матрены, следя за парнями, устанавливавшими стол на траве.

Матрена ответила, подумав:

– Да говорила еще по осени про Таньку Николину, так она ж замуж за Степку вышла.

Афанасьич хмыкнул:

– Да она хоть бы и не вышла, куда ей, тупая! Ну ладно, поглядим. – Он отошел от Матрены. – Здорово, старички! – сказал, подойдя к группе седебородых дедов, стоявших особняком.

– Здорово, Афанасьич! – хором ответили старички.

Афанасьич обошел всех, каждому пожал руку.

А Манька еще сидела в своей избе, на лавочке у окошка, и смотрела на улицу. Мать стояла возле нее, уговаривала:

– Слышь, доченька, собирайся, пойдем.

– Не пойду, – уперлась Манька.

– Доченька, да как же так? – в нетерпении всплеснула руками Авдотья. – Народ-то уж давно собрался, а нас все нету.

– А нам там неча делать. Я ж тебе говорю, нету во мне ничьей души, кроме моей собственной.

– Да откуда ж ты знаешь? – сердилась мать. – Откуда тебе это ведомо? Это старики еще визнавать будут, у Духа Святого выпрашивать.

– А чего там выпрашивать? Неужто я в себе другую душу-то не почуяла б? А то все как было, так есть, как хотела я с Гринькой жить, так и сейчас хочу.

– Ах ты, охальница! – закричала мать. – Да как ты можешь таки-то слова говорить. Вот услышит тебя Дух, покарает.

– Не покарает, – уверенно сказала Манька. – Он ведь знает, что в душе моей нет ничего, кроме только Гриньки.

– Вот я сейчас отца позову, он из тебя вожжой всю дурь твою вышибет.

Мать вышла на крыльцо и увидела мужа, который лежал на сене возле крыльца, бормотал что-то бессвязное.

Мать посмотрела на него осуждающе, покачала головой:

– Эх, охламон, надрызгался!

– Иди гуляй, – сказал муж, не оборачиваясь.

– Я вот тебе погуляю. А ну, вставай! – Она сбежала с крыльца и ткнула его носком лаптя.

– Ну чего?

– Чего-чего! Пьянь несчастная. Владычицу визнавать надо идти, а дочь твоя упирается.

– Ну и что? – беспечно спросил он, все еще надеясь, что его оставят в покое.

– Я тебе покажу – что! А ну подымайся! – Она опять ткнула его лаптем, но уже изо всей силы.

– Ты что, Авдотьюшка? – Он быстро вскочил на ноги. – Сказала б по-людски: так, мол, и так, дело есть, вставай, а ты сразу бьешься...

– Иди-иди, – она подтолкнула его кулаком в спину.

Манька сидела на прежнем месте, глядела в окошко, не обращая никакого внимания на вошедшего в избу отца. Отец растерянно посмотрел на Авдотью.

– Ну, чего делать? – спросил он.

– Прикажи дочери, пускай собирается.

– Дочка, собирайся, – послушно сказал отец.

Дочь пропустила эти слова мимо ушей.

– Ну что ж ты за отец? – сказала Авдотья презрительно. – Ты говоришь, а она тебя и слушать не хочет. Да ты сними вон вожжу и поучи, как следовало быть в таком разе. Бери, говорят тебе, – она схватила вожжу и хлестнула отца по заду так, что он подскочил от боли.

– Что же ты дерешься-то? Больно ведь! – закричал отец. Он взял вожжу и, подойдя к дочери, сказал ласково: – Поди, дочка, добром, не то ведь она меня совсем зашибет.

Манька промолчала. Мать подошла и повалила ее на лавку, сама села ей на ноги. Отец все еще растерянно топтался перед распластанной на лавке дочерью.

– Доченька, – сказал он, – ты же видишь, я не хочу, а она меня заставляет.

– Заставляет, так бей! – закричала Манька. – Хоть убей совсем, все одно никуда не пойду.

Отец еще потоптался и нехотя взмахнул вожжой.

– Да куда ж ты бьешь, глупая голова? – сказала мать. – Платье испортишь, а оно у нее одно.

Она задрала дочери подол и сказала удовлетворенно:

– Теперь бей, да покрепче, пока самому не попало.

Отец бил Маньку долго. Она лежала молча, сцепив зубы от боли, и только вздрагивала. Потом не выдержала.

– Хватит драться, – сказала она. – Пойду. Ищите во мне душу святую, может, чего и найдете.

Отец сложил вожжи. Мать встала с лавки.

– Так бы и давно, – сказала она.

Манька сползла с лавки, поправила платье. Морщась от боли, схватилась рукой за побитое место.

– Обормоты проклятые! – простонала. – Дочь родную до смерти засечь готовы.

Вышли втроем во двор. Мать с дочерью пошли к калитке, а отец остался возле крыльца.

– А ты не пойдешь, что ли? – обернулась Авдотья.

– Приду опосля, – сказал отец. – По хозяйству еще надо заняться.

– Уж ты приходи, – попросила Авдотья. – А то неудобно: народ соберется, а тебя нет.

Праздник ведь.

– А как же, праздник, – охотно согласился отец.

Он подождал, пока жена с дочерью скрылись за углом соседней избы, и улегся на старое место.

На поляне за столом сидели бородатые старики, человек шесть-семь во главе с Афанасием, и разглядывали очередную претендентку.

– Ну-ка, поворотись, – приказал Афанасий. – Еще. Так. Зубы покажи. Ага. Юбку чуть-чуть подбери, ноги посмотрим. Чем колено ссадила?

– В море, Афанасий, об камень ударилась, – объяснила девица смущенно.

– А не хромаешь, нет? А пройдишь-ка туда-сюда. Ничего, вроде не хромает, – обернулся он к соседу слева.

– Да вроде нет, – сказал сосед слева.

– Ну ладно. Становись туда, – Афанасий указал на группу девиц, уже прошедших эти странные смотрины. – Кто там еще?

Вышла Анчутка. Платье расшито бисером. На ногах расписные сапожки.

– Ближе подойди, – приказал старик. – Повернись. Зубы покажи. Закрой-закрой, хватит. Сапожки зачем надела? Лапоточки не нашла?

– А на что лапоточки? – бойко спросила Анчутка. – У меня ноги ровные, погляди. – Она приподняла юбку и приспустила немного сапоги.

– Ладно, – сказал старик. – Не надо. – Он повернулся к старику справа: – Ну как?

– Да так, ничего, – шепотом ответил старик. – Косовата немножко.

– Это не беда, – сказал Афанасий и показал Анчутке один палец: – А ну, погляди сюда. Сколько пальцев?

– Один, – сказала Анчутка.

– А не два? – лукаво спросил он.

– Один, – нагнув голову, упрямо сказала Анчутка.

– Ладно. Становись туда. Следующая.

Вышла некрасивая девушка. Фигура нескладная, глаза маленькие, нос картошкой. Афанасий переглянулся со стариками и решил:

– Становись обратно.

– А зубы показать? – с надеждой спросила девушка.

– Не надо, – сказал старик, – становись обратно.

Девушка сморщилась и заплакала.

– А чего ж зубы не смотришь? Они у меня знаешь какие – чистый жемчуг.

– Пусть покажет, – пожалел старик справа.

– Покажь, – неохотно согласился Афанасий.

Она с готовностью широко раскрыла рот.

– Становись обратно, – вздохнул старик. – Кто еще?

– Мы, – вышла мать Маньки.

– Ты, что ли? – удивился старик.

В толпе засмеялись.

– Не я. Дочка моя, Манюшка.

Схватив за руку и выведя из толпы Маньку, она толкнула ее к столу. Манька стояла, опустив голову, насупившись.

– Что такая сердитая? – спросил старик. – Подними голову. Улыбнись.

Манька в ответ сделала рожу.

– Ну и улыбочка! – покачал головой старик.

– С характером девка, – сказал старик справа.

– Материн характер, – сказал Афанасьич. – Слышь, Авдотья, – крикнул он Манькиной матери, – твой характер у дочки?

– Мой, – сердито сказала Авдотья.

Старики засмеялись. Манька посмотрела на них исподлобья и, не сдержавшись, тоже заулыбалась.

– Стань туда, – старик, довольный, показал в сторону, где стояли отобранные.

Десятка полтора неуклюжих рыбацких лодок далеко отошли от берега. Светило солнце, был полный штиль, довольно редкий для холодного моря. Лодки выстроились в линейку носами к берегу, и на каждом носу – будущая Владычица в одной рубашке, потому что в те времена других купальных принадлежностей девушки не имели. Афанасьич на легкой долбленке прошел перед строем лодок, командуя:

– Ровнее, ровнее! Эй, Егорыч, куда вылез вперед? Сдай обратно! Вот так. Ну... – Пристроившись с правого фланга, старик бросил весла и поднял руку.

Манька стояла на третьей от Афанасьича лодке и, кося одним глазом на старика, мелко постукивала зубами то ли от холода, то ли от возбуждения.

– Давай! – Афанасьич резко опустил руку.

Манька вместе со всеми плюхнулась в воду и почувствовала, как обожгло ледяной водой тело и перехватило дыхание. Но тут же на смену первому ощущению пришло другое – ощущение силы и уверенности в себе. Она попеременно выбрасывала вперед руки, и тело ее при каждом взмахе наполовину высывалось из воды.

На берегу волновались болельщики. Гринька с тревогой вглядывался в плывущих, пытался и не мог различить среди них Маньку, хотя по каким-то признакам и догадывался, что вон та, впереди всех, – она! Авдотья стояла спокойно, потому что на таком расстоянии не могла разглядеть никого. Но пловчихи приближались. Вот они уже стали доступны для глаз Авдотьи. Авдотья встрепенулась.

– Ну, доченька, – забормотала она, дергая подбородком, – ну еще чуток! Ну!

Когда-то она тоже была молодая и в плавании не знала равных во всей деревне. Но что это? Уже совсем близко, когда до берега осталось саженой двадцать, не больше, Манька вдруг перевернулась на спину и, безмятежно раскинув руки, едва перебирала ногами, лишь бы держаться.

Гринька, стоявший рядом с Авдотьей, облегченно вздохнул. Авдотья посмотрела на него и все поняла.

– Манька! – Она кинулась к самой воде, намочила лапоть и отскочила. – Манька, зараза такая, не будешь плыть, я тебе дам!

Манька слышала ее голос, но не спешила. Такой уговор был с Гринькой – не торопиться. Вот уже кто-то и догоняет ее, часто шлепая ладонями по воде. Пускай догоняет. Манька прижмурила веки, но неплотно, просеивая сквозь узкие щелки солнечные лучи.

– Что, сдохла? Кишка тонка! – услышала рядом злорадный голос.

Манька от неожиданности хлебнула горькой морской воды, перевернулась на живот. Обдав ее брызгами, проплыла мимо и уходила вперед Анчутка. Этого Манька стерпеть не могла. И, забыв о своем уговоре с Гринькой, рванула вперед, словно щука за карасем.

Оживилась на берегу Авдотья:

– Давай-давай, доченька, дави ее, стерву косую.

Засуетился и Гринька.

– Манька, опомнись! – закричал он.

Но уже было поздно – Манька с Анчуткой подгребали к берегу.

Авдотья, подхватив с земли сухую одежду, кинулась к дочери.

– Доченька моя – первая! – радовалась она, обнимая и целуя Маньку.

– Куды уж там первая! – возразила Анчуткина мать. – Моя уж ногами по дну шла, а твоя еще пузыри пускала.

Манька, запыхавшись, ловила ртом воздух и никак не отвечала на Гринькин укоряющий взгляд.

Много еще было между соперницами, если сказать по-теперешнему, состязаний. Бегали наперегонки – кто быстрее, плясали под жалеюку – кто лучше, пекли пироги – кто вкуснее.

Последний тур проходил опять на поляне. Опять сидели за столом старики и стоял полукругом народ. Перед судейским столом остались двое – Анчутка и Манька. Одна из них должна стать Владычицей.

Первую загадку загадал Афанасьич:

– «Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собака лает, а достать не может».

– Месяц! – закричала, догадавшись, Анчутка.

– Угадала, – одобрил старик. – Может, и еще угадаешь: «Дом шумит, хозяева молчат, пришли люди, хозяев забрали, а дом в окошко ушел».

– Это не знаю, – сказала Анчутка. – Это глупость какая-то. Как может дом в окошко уйти?

– Да вот может, – усмехнулся Афанасьич и повернулся к Маньке: – А ты как думаешь?

– Я думаю, – рассудила Манька, – дом шумит – это море, хозяева молчат – рыба в сети. Сеть вытащили, рыбу забрали, а дом остался.

– Соображает, – восторженно воскликнул маленький подслеповатый старичок, который до этого сидел самым крайним и дремал. – А вот я ей сейчас задам вопрос на засыпку: «Поле не меряно, овцы...» – Он растерянно заморгал. – Забыл.

Все засмеялись.

– «Овцы не считаны, пастух рогат», – сказала Манька.

– Я знаю – ночь, – сказала Анчутка.

– Это все знают, – сказал Афанасьич.

– А я еще одну знаю, – выкрикнул маленький старичок. – «Без рук, без ног...»

– Эту не надо, – оборвал его Афанасьич. Он повернулся к Анчутке: – Летело стадо гусей. Мужик увидел и говорит: «Поди вас сто». А гуси ему отвечают: «Кабы нас столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да ты один, то было бы сто». Сколько было гусей?

– Сто, – сказала Анчутка.

– Ты внимни лучше, – строго сказал старик.

– Кабы столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да еще мужик...

– Я ж и говорю – сто, – упорно повторила Анчутка.

– Не соображаешь, – сказал Афанасьич и повернулся к Маньке: – А ты как думаешь?

– Ну, значит, так... – Манька стала загибать пальцы. – Без мужика остается девяносто девять. А потом четверть и полстолько, две четверти всего три, два раза по четыре четверти – восемь, восемь и три – одиннадцать, в одной четверти девять, в четырех – тридцать шесть. Тридцать шесть гусей было.

Афанасьич пошептался о чем-то со своими товарищами, потом все вышли из-за стола. Афанасьич взял Маньку за руку, вывел на бугор, повернул лицом к морю и упал вместе с ней на колени. А все остальные повалились на землю ниц, как бы ожидая той кары, которая может последовать, если они что-нибудь не так сделали.

– Дух Святой! – громко сказал старик. – Ты хозяин моря и леса, хозяин над всякой тварью, хозяин над человеком. Вот тебе жена от народа нашего. Хороша ли, плоха ли, может, и не по нраву тебе придется, а лучше нет среди нас. Пусть, Владыка, она будет твоею рабою, а над нами, детьми твоими, Владычицей. Встань, покажись Владыке, – обратился он к Маньке.

Она послушно поднялась и застыла с окаменевшим лицом. И люди подняли головы. И сквозь тучи прорезался тонкий солнечный луч и осветил лица людей.

И в народе прошел шум. Все встали. Кто-то крикнул:

– Слава Владычице! – но крикнул не вовремя.

И Афанасьич поднял руку и сказал, обратившись к Маньке с поклоном:

– Матушка наша, пресвятая Владычица! Дух Святой подает нам знак, что с охотою берет тебя в жены. Служи ему по правде, будь верной до самой смерти. А нарушишь в чем закон верности – ляжешь в землю живая, а народ твой постигнет великая кара. Помни об этом. Ты теперь у нас самая старшая. Ты наша матушка, а мы твои дети.

Манька стояла растерянная и ошалелая, еще не в силах понять и осмыслить всего, что произошло. А старик снова поклонился ей в пояс. Вместе с ним поклонились Владычице все остальные.

И опять кто-то крикнул:

– Слава Владычице! Слава Владычице!

И тут произошло невообразимое. Вся толпа повалилась на землю, все стали иступленно биться о землю, истошно выкрикивая:

– Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

Бился о землю в поклонах Афанасьич, бился отец Гриньки Мокеич, билась рядом с матерью, рыдая от только что перенесенного позора, Анчутка, и все же вместе со всеми выкрикивая:

– Слава Владычице!

Манька стояла посреди этого вдруг взбесившегося круга и затравленно озиралась, не зная, куда деваться. Увидела старуху, которая ползла к ее ногам впереди других, попятилась и чуть не наступила на старуху, подползавшую сзади. Они ползли отовсюду – справа и слева, тянули к ней руки, и крики их «Слава Владычице!» перешли уже в сплошной вой.

Неожиданно в круг вскочил Гринька. Заметался, переступая через ползущих и орущих людей.

– Эй, люди, вы что, озверели? – закричал он недоуменно. – Что ж это делается?

На кого-то он наступил, кого-то шлепнул по задку. Увидев своего отца, схватил его за шиворот и потряс:

– Эй, тятка, ты что?

Отец отпихнул его и, заорав не своим голосом: «Слава Владычице!» – пополз дальше. Гринька кинулся к Маньке.

– Манька, – закричал он, – да какая ты, к бесу, Владычица? Они же тебя разорвут сейчас. Пошли отсюда!

Он схватил ее за руку и потянул к себе. В это время Афанасьич толкнул в бок ползшего рядом с ним горбуна. Горбун понял приказ и с неожиданной для него ловкостью прыгнул сзади на Гриньку, придавил его и, заглушая Гринькины вопли, заорал:

– Слава Владычице!

По деревне идет толпа празднично одетых людей во главе с рослым парнем, обязанным расшитыми кушаками и полотенцами. Парень несет на вышитом полотенце хлеб – челпан – подарок невесте. Другой парень рядом несет пирог с рыбой и кувшин вина.

Парень с челпаном по дороге выкрикивает:

Ой да добрые люди,
Гости полубовные,
Званные и незванные,
Усатые и бородатые,
Холостые и женатые,
У ворот приворотнички,
У дверей притворнички,
Благословляйте!

Народ, толпящийся по бокам, отвечает хором:

– Благословляем!

Дружко, увидев молодых женщин, говорит им:

Молоды молодки,
Хороши походки,
Золоты кокошки,
Серебряны сережки,
Благословляйте!

Женщины, кланяясь, отвечают:

– Благословляем!

Процессия подходит к дверям. У дверей стоят Афанасьич с Матреной. Дружко, кланяясь, обращается к ним:

Сватушка коренной,
Свахонька коренная,
Благословляйте своих детей
В свой терем идти,
Здоровенько спать,
Веселенько вставать,
Нам всем счастье творить.

Афанасьич отвечает с поклоном:

– Благословляем.

– Сватушка коренной, свахонька коренная, звали ли гостей?

– Звали-звали, – отвечает Афанасьич.

– Бьем челом. Было ли вызнание, было ли сватовство, было ли обручение?

– Было.

– Сватушка коренной, свахонька коренная, у нас жених молодой, ясный сокол, золоты кудри, со своими дружками и с подружьем стоим под окном, под небесным облаком, дозвошь спросить: ждет нас невеста?

– Ждет, – отвечает Афанасьич, распахивая дверь.

Празднично убранная изба. За столом сидят отец с матерью, в углу возле печки невеста с подружками. Невеста, в нарядном сарафане, с кокошником на голове, сидит напуганная и растерянная, не в силах постигнуть происходящее.

Дружко, входя, громко провозглашает:

– Становитесь, отец на отцово место, мать на материно.

Отец с матерью выходят из-за стола, становятся посреди избы.

Дружко говорит:

– Руки с подносом, ноги с подходом, головы с поклоном, язык с приговором. Идут от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны – немалы. Примете аль не примете?

– Примем, – отвечает перепуганный в смерть отец.

Дружко снимает с блюда вино, протягивает отцу, а матери – пирог с рыбой. Родители принимают гостинцы.

Дружко поворачивается в угол к невесте:

– Идут к невесте-молодице от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны – немалы. Примете аль не примете?

– Примем, – говорит отец.

– Со светом али без свету?

– Со светом, – отвечает отец.

Дружко вынимает из-за пазухи свечу, зажигает от свечи одной из подружек, подает невесте, и все подружки сразу же гасят свои свечи, остается только одна в руках невесты.

– Свечи воску ярого от нас, – говорит дружко, – а свет летучий от жениха, ясно сокола.

Второй дружко подносит невесте челпан. Она принимает его, надкусывает, а на блюдо дружке подает свой челпан.

Старший дружко говорит, обращаясь к невесте:

– Невеста-молодица, становись-ка ты на резвы ножки, на куньи лапки, пойдем в твой высок терем, там жених тебя ждет ясен сокол, все в окошко глядит, все тоскует, все спрашивает: «Не идет ли там девица красная, что невестой моей называлася, что женой быть моей обещалася».

Вдоль дороги, ведущей к терему, с обеих сторон толпился народ. При приближении свадебной процессии люди сыпали на дорогу зерно и падали на колени. Невеста шла, опустив голову, и исподлобья поглядывала на толпу в обе стороны, ища кого-то глазами и не находя.

Вдруг перед процессией появился заметно пьяный Гринька. Пятясь назад и приплясывая, он стал орать не своим голосом:

– Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

В толпе произошло замешательство. Кто-то, видимо решив, что так нужно, поддержал Гриньку и тоже крикнул:

– Слава Владычице!

Манька растерянно остановилась, но тут по знаку Афанасьича из толпы выскочили два здоровых парня, в один миг схватили Гриньку за руки, за ноги и потащили в сторону. А Гринька вырывался из рук и кричал:

– Слава Владычице!

Нянька Матрена, обогнав процессию, вбежала в терем и вышла из него с хлебом-солью на полотенце. Поклонилась новой своей хозяйке:

– Добро пожаловать, матушка пресвятая Владычица, будь в сем доме хозяйкой, а надо мной, старой нянькой твоей, госпожой.

Новая Владычица взяла из рук Матрены хлеб-соль и вошла за ней в терем. Народ с песнями обошел вокруг терема, посыпая его зерном, и, кланяясь напоследок, разошелся.

С сундучком в одной руке и с узелком в другой Манька переступила порог нового своего жилья. Испуганно огляделась.

Посреди большой комнаты стоял широкий дубовый стол и две лавки. В углу пол устлан чистыми половичками, сшитыми из цветных лоскутков.

Манька поставила сундучок у порога, а узелок положила на стол. Все было непривычным, чужим и странным. Манька постояла в растерянности посреди комнаты, потом, не найдя себе никакого дела, опустилась на край скамейки, руки положила на колени и замерла, боясь пошевелиться. Только глаза ее не могли успокоиться, а все шарили по комнате, ощупывая каждый угол, каждое бревнышко в стене.

Вечерело. Забирались на насесты куры. Загонялась в хлева скотина, люди, готовясь ко сну, запирали двери и окна.

В тереме существовал совершенно другой обычай. Матрена обходила все комнаты и открывала двери настежь. Все должно было быть открыто для Духа, который обязан явиться в эту первую ночь.

Манька сидела все в той же позе, когда дверь в комнату распахнулась. Манька вздрогнула, но вошел не тот, кого она ожидала, вошла Матрена. Нянька сложила лишние подушки на лавку, постелила постель и, идя к двери, сказала:

– Спокойной ночи, матушка!

Она ушла, оставив за собой дверь открытой. Манька подошла на цыпочках и прикрыла. Нянька вернулась.

– Матушка, – сказала она, – в первую ночь дверь закрывать не положено, для мужа твоего все должно быть открыто.

Она снова ушла. Манька прислушалась и, убедившись, что нянька ушла к себе, подошла к узелку, развязала его. Вынула пирожки, стала раскладывать их на столе.

– Вот, – сказала она, обращаясь к Духу, который должен был ее слышать, – это с мясом, а это с капустой. Маманька пекла. Она у меня хорошо печет. И я тоже умею. А это, – она достала кувшин и кружку, – брага хмельная. Папанька ее любит. Он за нее родную дочь продаст кому хошь. Если немножко, то можно с устатку. У тебя же, чай, дел ой сколько! На земле столько народу да столько твари всякой, за всем проследи и каждого направь, куда надо. И это ж, если б только одна наша деревня была, а то ведь старые-то люди говорят – еще есть и поболее нашей. Хотя, может, и врут. Как это может быть боле, когда у нас, почитай, сорок дворов!

Села она за стол, подперла голову руками, ждет. Задремала. Проснулась. Нет никого. Она подняла глаза к потолку.

– Ну, чего же ты не идешь? Я же тебе все приготовила: и угощение и постелю. А если я тебе не по нраву, так ты скажи. А не можешь сказать, какой ни то знак подай: или через трубу погуди, или дверью грюкни. Я пойму. Я смышленная.

Утром нянька Матрена подоила корову, налила в кружку молока, отрезала кусок хлеба и пошла к Владычице. Отворила дверь и застыла на пороге.

На столе по-прежнему лежали пирожки, стоял кувшин с брагой, а Манька складывала вещи в свой сундучок.

– Куда это ты, матушка, собираешься? – подозрительно спросила Матрена.

– За кудыкины горы, – сердито ответила Манька.

Матрена поставила кружку и хлеб на стол, села на лавку.

– Уж не домой ли?

– Домой, – сказала Манька. Потом посмотрела на Матрену и объяснила: – Не пришел Дух-то. Ты говорила – придет, а он не пришел. Видать, я ему не по нраву пришлась, брезгует. Может, ему Анчутка косая больше пригляделась, так пушай он до ней и идет.

– Тише ты! – испугалась, замахала руками Матрена. – Ты что это такое говоришь? Он услышит, осердится.

– А пушай сердится, – сказала Манька, – я сама в жены ему не набивалась. Я и не хотела, я с Гринькой хотела жить.

Она села на сундучок и, закрыв лицо руками, заплакала.

Нянька села с ней рядом, погладила ее по голове.

– Э-эх, – вздохнула она укоризненно. – Ты же наша Владычица, призвана управлять всем человеческим родом, а не понимаешь... Да как же Святому Духу, Владыке небесному, к тебе не прийти? К кому ему и податься, как не к тебе. Приходил он ночью, обязательно приходил.

– Что-то я его не видела, – сказала Манька. – Всю ночь прождала, только под утро чуть-чуть задремала.

– Ну вот видишь, – обрадовалась Матрена. – Значит, под утро он и приходил. Он ведь просто так никогда не придет, а допрежь усыпит, ибо лик его никто видеть не должен.

– Нет, нянька, ты мне голову не дури. Кабы он приходил, так хоть след какой-никакой бы остался. А ведь нет ничего.

– Вот чудо-юдо, скажешь тоже! Какой он может след оставлять? Думаешь, он такой человек, как и все, с руками-ногами, а это Дух. Он потому Духом и зовется, что плоти не имеет и никому невидим.

– А если он такой бесплотный, невидимый и неслышимый, для чего мне с ним жить? И как жить?

– А живи как живется. Ешь, пей, гуляй, занимайся рукоделем. Да у тебя делов-то оей-ей сколько! Сейчас вон рыбаки в море собрались, тебя ждут, совета просят: идти им али не стоит?

– А откуда мне знать?

– Кому ж знать, как не тебе. Когда тебя спрашивают, говори, как сама думаешь, и это будет правильно, потому что мысли твои есть внушенные Духом. Ну а если в чем сомневаешься, обращай внимание на приметы. Вот, к примеру, вчера солнце с красной зарею зашло, а сегодня встало со светлой. Значит, Дух знак подает, что погода к ведру идет, а раз к ведру, значит, можно так понять, что рыбакам в море идти самое время. Сама смотри, все соображай, и как ты решишь, так и правильно будет. Ну, ладно, ты покушай да иди, люди ждут.

Толпа провожающих стояла на берегу. Лодки, готовые к отплытию, покачивались на мелкой волне. Вдоль лодок ходил Афанасьич, проверял снаряжение.

Лохматый парень возился на дне одной из лодок, конопатил дыру.

– Течет, что ли? – спросил старик.

– Маленько течет, – смущенно улыбнулся парень.

– Загодя надо конопатить, – проворчал на ходу старик. – Да и просмолить не мешало б. Возле одной лодки были Гринька с отцом. Отец грузил сети, Гринька сидел на носу лодки и крутил веревку, один конец которой был утоплен в воде.

– Ну как, Мокеич, готово? – осведомился, подходя, Афанасьич.

– Да вот сети погрузим, будет готово, – степенно ответил Мокеич.

– С похмелья голова не болит? – вполголоса спросил Афанасьич, кивая в сторону Гриньки.

– Да какая у него голова! – махнул рукой Мокеич. – Ты уж не серчай, Афанасьич, он это по дурости вчерась вылез.

– Да об чем говорить, – великодушно простил Афанасьич. – По пьяному делу с кем греха не бывает! Верно я говорю, Григорий? – крикнул он Гриньке.

Гринька, продолжая свое занятие, ничего не ответил, словно не слышал.

– Ты что это делаешь? – приблизился к нему Афанасьич.

– Чертей гоняю, – доверительно сообщил Гринька.

– Зачем? – удивился Афанасьич.

– Да все подбивают сходить к одной бабе. Сходи, говорят, да сходи.

– К какой бабе? – насторожился Афанасьич.

– К Анчутке, – сказал Гринька, продолжая крутить веревку.

– А, – старик вежливо захихикал.

Гринька перестал крутить веревку и уставился на старика.

– А ты думал – к какой бабе? А?

Афанасьич смутился.

– Ты, чем языком молоть, – хмуро сказал он, – помог бы отцу сеть грузить.

– А он у меня здоровый, – сказал Гринька. – Он прошлый год быка подымал. Правда, не поднял.

Отец, погрузив сеть, подошел к Гриньке и что было сил врезал ему по затылку.

– Во, видал? – сказал Гринька. – А ты говоришь – сеть!

– Ты у меня поболтай еще. Я из тебя дурь эту вышибу.

– И зря, – сказал Гринька, – вышибешь, а что останется? У меня же в башке, окромя дури, нет ничего.

В это время толпа заволновалась, по ней прошел шелест:

– Идет! Идет!

По крутой тропинке к берегу в сопровождении Матрены спускалась Владычица.

Толпа замерла. Мужики сняли шапки. Владычица подошла к толпе и остановилась. Афанасьич выступил вперед и склонил перед Владычицей голову. Она смотрела и не знала, что делать. Вопросительно скосилась на Матрену. Матрена шепотом сказала:

– Ручку.

Владычица сообразила, шевельнула левой рукой, потом испугалась, что она грязная, потерла тыльной стороной ладони о платье и подала Афанасьичу. Тот приник ней губами, а Владычица другую руку положила ему на темя.

– Идите, мужички, в море спокойно. Будет вам путь, – стараясь держаться важно, сказала Владычица.

– Благодарствуем, матушка! – ответил Афанасьич и отошел.

Толпа задвигалась, мужики, уходящие в море, перестроились в цепочку, все подходили к Владычице, рядом с которой, кроме Матрены, оказался еще и горбун, все целовали ей руку, и каждого она благословляла прикосновением к темени.

В очереди впереди Мокеича двигался Гринька. Он делал вид, что не хочет идти вперед, и Мокеичу каждый раз приходилось его незаметно подталкивать. Подошла Гринькина очередь. Горбун, бдительно следивший за Гринькой, шепнул:

– Будешь орать – прибью.

Гринька только усмехнулся и промолчал. Приблизился к Владычице и посмотрел ей в глаза. Она не выдержала и перевела взгляд на свою руку. Гринька взял ее руку в свою левую, а правую положил сверху и приложился к ней губами. Этого никто не заметил, кроме Владычицы, которая после секундного замешательства резко выдернула руку и протянула приближавшемуся Мокеичу.

Отец Владычицы смущенно топтался возле жены, никак не решаясь подойти к дочери, но, когда очередь прошла, Авдотья подтолкнула его. Он подошел и, как все, приложился к ее руке. Владычица, благословлявшая других молча, тихо сказала:

– Счастливый путь, тятя.

– Благодарствую, до... матушка, – вовремя исправил свою ошибку отец.

Авдотья смотрела на дочь взглядом, исполненным счастья и гордости.

После благословения мужики отходили к лодкам, садились на весла. Когда все уселись, Афанасьич со своей лодки дал знак, и все одновременно отошли от берега.

...На берегу остались старики, женщины, дети. Они застыли как изваяния и молча смотрели в море, пока лодки не скрылись за горизонтом. Матрена тронула Владычицу за рукав, и они вместе направились к терему.

Баба с ребенком, стоявшая с краю, заметив, что Владычица удаляется, кинулась вслед за ней.

– Матушка, – быстро заговорила она, поравнявшись с Владычицей и пытаясь всучить ей кусок сала, завернутый в тряпку, – дите у меня хворает, животом мается, день и ночь криком кричит, пособи чем-нибудь.

Владычица остановилась, растерянно посмотрела на бабу, перевела взгляд на Матрену. Матрена вышла вперед, встала перед Владычицей и пошла на бабу, оттесняя ее от Владычицы.

– Ладно уж, придешь опосля.

Тут налетели и другие бабы. Одни забегали вперед, другие лезли с боков.

– Матушка, коза в яму упала, ногу сломала! – кричала одна.

– Матушка, мне вчерась покойник наснился, – перебивала другая.

– Матушка... – вылезла третья.

– Да что вы, оканные, сразу налезли, – замахала на них руками Матрена. – Кыш отсюда, дайте матушке хоть в себя-то прийти. Кыш! Кыш!

Наткнувшись на мать Владычицы, она смутилась, но достаточно строго спросила:

– Тебе чего, Авдотья?

Авдотья растерялась. Ей еще не приходилось говорить с дочерью через посредников.

– Там полушалок теплый остался, – оробев, сказала она. – Может, занести?

– Занесите, маманя, – сказала Владычица почтительно.

– Слушаю, матушка, – благоговеино склонилась Авдотья.

Смущенная таким обращением матери, Владычица повернулась и быстро пошла к терему. За ней, едва попевая, семенила Матрена.

– Красавица наша, – умильно глядя Владычице вслед, проговорила стоявшая рядом с Авдотьей баба.

– Вся в мать, вся в мать, – громко подхватила другая, заглядывая Авдотье в глаза.

Но Авдотья строго посмотрела на ту и другую и, не приняв лести, пошла к деревне.

Она подходила к своей избе, когда ее догнала баба с ребенком.

– Лукинишна, – сказала она, сунув ей кусок сала, завернутый в тряпку, – замолви словечко перед Владычицей, дите мается, криком кричит...

– Ладно-ладно, скажу, – неохотно ответила Авдотья, но сало взяла.

Войдя в избу, она положила сало на стол и открыла сундук. Долго перебирала вещи, пока не нашла обещанный дочери полушалок. Растянула его на руках, села на лавку и, приложив полушалок к лицу, расплакалась.

Прошел месяц, а может, и больше.

Анчутка медленно плыла на лодке, нагруженной караваем хлеба и бочонком с пресной водой. На море стоял полный штиль, настроение у Анчутки было хорошее, и она дурным голосом, усугублявшим полное отсутствие слуха, пела:

А и теща, ты теща моя,
А ты чертова перечница!
Ты погости у mine!
А и ей выехать не на чем.
Пешком она к зятю пришла,
А в полог отдыхать легла...

Лодка неожиданно на что-то наткнулась. Раздался треск. Анчутка, оборвав песню на полуслове, обернулась, увидела, что ее лодка столкнулась с лодкой Гриньки, который проверял расставленные сети. Невдалеке виден был остров, на котором ждали ее рыбаки.

- Чего орешь? – грубо сказал Гринька. – Рыбу всю распугаешь.
- Гринька! – обрадовалась Анчутка. И засмушалась. – А я вот хлеб вам везу.
- А еще чего? – спросил Гринька.
- А еще воду колодезную. Холоднющая, аж зубы ломит.
- Дай испить.

Она налила ковш воды, подала Гриньке. Гринька припал к ковшу.

- А загорел! – с восхищением сказала Анчутка. – Весь нос облупился.

Она протянула руку, чтобы содрать с его носа кожу. Гринька, не отрываясь от ковша, ткнул ее пальцем в живот. Анчутка кокетливо захохотала.

Рыбаки, которые ждали Анчутку на острове, высыпали на берег. Мокеич нетерпеливо крикнул:

- Гринька, охламон, не задерживай девуку!
- Афанасьич, стоявший рядом, его охладил:
- Да что ты на его кричишь? Пушай побалуются, их дело молодое.

Гринька отпихнул Анчуткину лодку веслом, она погребла к берегу. Немного не доплыв, прыгнула в воду босая и с силой вытащила лодку на песок.

- Здорово, мужички! – весело сказала она.
- Здорово, – ответил Афанасьич. – Чего там в деревне нового?

– А чего там нового? Бабы скучают, силу набирают, – бойко сказала Анчутка и повернулась к тщедушному рыжему мужичонке: – У тебя, Степан, баба сына принесла вот такого роста, а ревет басовито, что бык племенной.

Степан обрадовался, но виду не подал, мужское достоинство не позволило. Он только наклонил голову и скромно ответил:

- В меня, знать, пошел.
- Рыбаки засмеялись. Афанасьич отвел Анчутку в сторону и тихо спросил:
- А Владычица чего говорила?
- Наказывала через три дня вам домой повертаться.
- Афанасьич поднял голову, посмотрел на спокойное, чистое небо и ответил:
- Ну-ну.
- Чем-то не нравилось ему это небо.

Утром того дня, когда должны были вернуться рыбаки, проснулась она на рассвете. Выглянула в окно. Огненный шар солнца медленно поднимался над горизонтом. Начался ветер. Он скрипел входной дверью, раскачивая кроны деревьев, и низко гнал дым над избами.

Владычица встала и в одной рубашке прошла в комнату Матрены. Комната была пуста, постель убрана. Матрена в хлеву доила корову.

- Ты что это рано так поднялась? – удивилась Матрена, увидев свою хозяйку в дверях.

– Да так, что-то не спится, – сказала Владычица, не решаясь доверить Матрене свои сомнения. Но не удержалась: – Ветер на дворе.

– Авось пройдет, – успокоила Матрена.

– Пройти-то пройдет, но все же... – Владычица повернулась и пошла назад в свою комнату.

Матрена прислушалась к свисту ветра, нахмурилась. Ей погода тоже не нравилась. Корова, которой надоело доиться, ударила ногой по подойнику, но старуха вовремя его подхватила.

– Ну-ну, не балуй, – строго сказала она корове и ткнула ее кулаком в бок.

Потом внесла подойник к себе в комнату, налила кружку молока и донесла Владычице, но уже не застала ее.

Владычица стояла на берегу, ветер рвал с нее платок, задирали юбку. Она напряженно смотрела вдаль, но там ничего не было видно, кроме белых барашков, вскипавших на гребнях волн.

– Ветер, матушка, – сказал кто-то сзади.

Она вздрогнула и обернулась. Позади нее и по бокам стояли бабы, все бабы, сколько их было в деревне. Многие с грудными детьми и с детьми постарше, державшимися за материнские юбки. Десятки пар глаз смотрели на нее с отчаянием и надеждой.

– Разве ж это ветер? – беспечно сказала она. – Ветерок. Идите, бабы, по домам, нечего тут собираться, все будет как надо.

Но никто не сдвинулся с места. Тогда она повернулась и пошла в терем мимо поджидавшей ее на крыльце Матрены, молча поднялась к себе. Села на край лавки, как тогда, когда первый раз вошла в эту комнату, сложила на груди руки. Потом подняла глаза к потолку и сказала, обращаясь к Духу совсем по-домашнему:

– Батюшка, свет родимый, не выдай. Ну на что это ты так рассердился? Ведь люди плывут по морю. А лодчонки у них сам знаешь какие, долго ли перевернуть? А ведь скажут-то все на меня. Обещала, мол, что будет путь, а где он? Уж ты, батюшка, если и осерчал, как ни то по-иному меня накажи, а море, сам посуди, стоит ли зазря баламутить.

– У-ууу, – прогудел в ответ ветер в трубе.

– Вот тебе и «у-у», – передразнила Владычица. – Спробуй только, опрокинь хоть одну лодку, я тебе тогда поукаю.

Она опять вышла из терема, но теперь, чтобы не попадаться на глаза Матрене, в другую дверь – через хлев. И по другой тропинке, вдалеке от собравшихся на берегу баб, спустилась к самой воде. Притаилась за выступом обрывистого берега и ждала. Волны шумели, налетали на берег и некоторые касались ее босых ног.

Где-то на гребне далекой волны мелькнула первая точка. За ней вторая. Лодки приближались к берегу, и люди, сидевшие в них, отчаянно боролись с волнами.

Первая лодка ткнулась наконец в песок.

Женщины и дети с радостными криками скатились вниз. Подходили другие лодки. Одной из них правил Гринька. В ней рядом с Мокеичем сидела Анчутка.

Привязав наспех лодки, рыбаки направились к терему Владычицы. Возглавлял шествие Афанасьич. На растопыренных руках он тащил огромную рыбину.

Владычица не сразу сообразила, что рыбина предназначалась ей. А когда сообразила, повернулась и низом кинулась к терему. Едва успела добежать, натянуть на ноги сапоги. Смахнула со лба пот рукавом, поправила волосы и, переводя дух, вышла на крыльцо как ни в чем не бывало, строгая и величественная.

– Здравствуйте, мужички, – весело поздоровалась она с подходившими рыбаками. – Каково вам плавалось, каково ловилось?

– Благодарствуем, матушка, – приблизился Афанасьич, изнемогая под тяжестью рыбы. – Хорошо нам плавалось, хорошо ловилось. Прими от нас гостинчик с благодарностью за удачу.

– Возьми, нянюшка, – сказала она вышедшей из толпы Матрене. – А вы, мужички, идите и отдыхайте.

Владычица быстро шла по деревне. Рядом с ней бежал горбун Тимоха.

– Матушка, – спрашивал, – а как думаешь, она горбатенького не может принести?

– Сплюнь трижды через левое плечо и таких глупостей больше не болтай, – строго сказала Владычица.

– Ой, и правда, что ж это я такое болтаю! – Горбун трижды сплюнул, как велела Владычица, забежал вперед, проявляя необычную для него суетливость. Распахнул перед Владычицей дверь в избу.

В избе за рваной занавеской стонала роженица. Тут же суежилась и Матрена. Она зачерпнула из квашни ложкой тесто и наговаривала на него:

– Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли. Поезжайте, поезжайте. – Сунула роженице в рот ложку с тестом. – Поехали. Поехали. Едут, – посмотрела, нахмурилась. – Нет, не едут. А вот и матушка Владычица пришли. Сейчас тебе будет святое благословение, и тогда уже родишь.

Со смешанным чувством боязни и любопытства Владычица заглянула за занавеску и спросила участливо:

– Больно, милая?

– Уж так больно, матушка, моченьки моей нет больше, – со стоном пожаловалась роженица.

– Ну ладно уж, рожай, – разрешила Владычица и, подержав ладонь у ее вспотевшего лба, поспешно направилась к выходу, провожаемая бормотанием Матрены:

– Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли...

Возле Гринькиного дома сидели на завалинке Мокей с Афанасьичем и о чем-то разговаривали. Когда Владычица проходила мимо, оба встали, сняли шапки и поклонились. Владычица им в ответ кивнула и улыбнулась. В это время со двора, ведя на ремешке петуха, выбежал Гринька, догнал Владычицу, снял шапку и поклонился учтиво.

– Матушка Владычица, у меня к тебе просьбица небольшая будет, – сказал Гринька, на ходу пристраиваясь к Владычице.

– Чего еще удумал? – сердито спросила Владычица, косясь на петуха, который рвался, натягивая ремешок и хлопая крыльями.

– Сотвори, будь добра, чудо: научи петуха по-собачьему лаять, а то и бегать на ремешке его научил, а вот лаять никак не хочет.

– Сгинь, – сказала Владычица и ускорила шаг.

Гринька снова догнал ее:

– Матушка Владычица, сон мне наснился. Чудной такой сон, а к чему он, не знаю.

– Ну, говори свой сон, да быстро, – тихо приказала она.

– Быстро-быстро, – согласился Гринька. – Значит, так. Наснилось мне, будто мы с тобой лежим вместе на сене, и будто я к тебе шасть под юбку. А тут спускается с неба Святой Дух и говорит: «Ты чего это к моей женке под юбку лазишь?» А я ему говорю: так я ж это, мол, просто так, по-соседски.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза и неожиданно для самой себя сказала:

– Гринюшка, родненький, и так тошно, что ж ты меня терзаешь?

– Значит, ты меня еще не забыла, – сказал он, торжествуя. – И не забудешь, как я тебя забыть не могу.

Она отшатнулась от него в испуге, повернулась и быстро пошла прочь, почти побежала. Гринька вернулся к избе. Отец с Афанасьичем по-прежнему сидели на завалинке и пытливо смотрели на него.

– Об чем это ты, милоч, с матушкой калякал? – ласково спросил Афанасьич.

– Да так просто, – беспечно ответил Гринька. – Пытал у ней, как лучше рыбу чистить: с головы али с хвоста?

– Ой, милоч, ты у мене и докалякаешься, – все так же ласково, но с явной угрозой сказал Афанасьич.

В это время петух взмахнул крыльями и налетел на Афанасьича. Старик пригнулся, закрывая руками голову.

– Не бойсь, не укусит, – сказал Гринька, оттаскивая петуха. – Он тухлятиной брезгует.

Во дворе Гринька развязал ремешок, и петух, почувствовав свободу, радостно закричал и погнался за курицей, разгребавшей навоз. Гринька поднялся в избу.

– Ты, Афанасьич, на его не обижайся, – виновато сказал Мокеич, – он же у мене глупой. Без матери рос.

– Глупой-глупой, – рассердился Афанасьич, – а знает, за кем ухлестывать. Это ж надо нахальство такое иметь, на кого глаза-то таращит. Смотри, Мокеич, побереги сына. Ведь если что – зашибем.

– А что же мне с им делать? – робко спросил Мокеич.

– Жанить, – сказал Афанасьич решительно. – Жанить, да и все. Хоча бы на той же Анчутке, и как можно скорей.

– Да он на ней жаниться-то не захочет, – попытался возразить Мокеич.

Афанасьич посмотрел на него и твердо сказал:

– Захочет.

Во дворе Владычицы собралась вся деревня. Сама хозяйка сидела на высоком крыльце в нарядном полушубке, в расписных сапожках, принимала народ.

Первой вышла баба с перевязанной щекой. Положила перед Владычицей лепешку черную да кусок семги. Держась за щеку, застонала.

– Что у тебя? – спрашивает Владычица.

– Ой! – стонет баба.

– Зуб, что ли? Который?

– О-о! – баба засунула палец в рот.

– Змею живую добудь и вынь из нее желчь из живой, и чтоб она живая с того места сползла, а желчью мажь зуб, где болит, а если змея с того места без желчи не сползет, в той желчи пособия нет.

– У-уу, – благодарно простонала баба, пятясь задом в толпу.

Вышел из толпы мужичок, упал перед Владычицей на колени, приложился губами к ее ноге.

– Что у тебя, Степан? – спросила она ласково.

– Корова пропала, матушка. Третьего дня выгнал ее пастись к лесу, ввечеру пришел, а уж ее нет.

– Выйди поутру до света, стань на росу босой, плюнь трижды против солнца, говоря: «Пропади тень от света, роса от тепла, найдись, моя корова, приди к хозяину, дай молочка, напои меня, мою жену, моих детушек». Если волки не задрали, найдется. Понял, нет?

– Понял, матушка, благодарствую, понял.

– А ну-ка повтори, что делать должен.

– Ну, значит, это, выйти ночью, стать на росу босому, трижды плюнуть и сказать...

– Куда плюнуть-то?

– А я, матушка, и забыл.

– Вот, забыл! А это есть самое главное. Трижды плюнь против солнца. А что говорить надо?

– Ну, значит, «пропади тень от тепла»...

– Тьфу ты, несмысленный какой! Ну как же может тень от тепла-то пропасть? Ты видал такое?

– Не, – сказал мужик, – не видал.

– И значит, как надо говорить?

– А кто знает! – мужик растерянно почесал в затылке.

– Ладно, опосля придешь, назубок учить будешь.

Мужик, смущенный, отошел кланаясь.

Тут вышли из толпы отец Гриньки и отец Анчутки, вывели за руки своих детей. Гринька и Анчутка упали перед Владычицей на колени. Отец Гриньки бросил на крыльцо мешок. В мешке был поросенок. Он завизжал, забарахтался и покатился по крыльцу. В толпе все засмеялись. Матрена, выбежав на крыльцо, схватила поросенка и утащила в терем.

Отец Гриньки поклонился Владычице и сказал:

– Матушка наша, пресвятая Владычица, надумали мы оженить наших детушек, просим твоего святого благословения. Пусть промежду ними будут мир да совет.

Владычица сжала губы, и взгляд ее встретился с непроницаемым Гринькиным взглядом. Однако она сдержала себя и с подобающей случаю величественностью свела руки крестом, левую ладонь приложила ко лбу Гриньки, стоявшего справа, правую – ко лбу Анчутки.

Молодые отошли кланаясь.

Вышла баба с ребенком.

– Что у тебя? – строго спросила Владычица.

– Да я вот все с дитем, матушка. Уж ты не сердчай, а только животик у него все не проходит.

– Медвежью печень высуши, истолки в ступе, смешай с молоком, мажь живот на ночь – пройдет.

Она поднялась, давая понять, что прием окончен. Старухе, которая сунулась к ней с какой-то жалобой, сказала:

– Ладно, хватит, в другой раз.

Придя к себе в комнату, она упала на кровать и зарыдала. Потом встала на колени и, воздев руки к потолку, закричала:

– Дух Святой, прости меня, накажи меня, побей меня громом небесным, укажи мне, как жить, что делать? Слаба я, грешна, не то что править другими, с собой совладать не могу. Что ж ты молчишь? Что не отзываешься? Уж я, кажись, не докучала тебе своими просьбами. Помоги же мне, ежели ты есть!

Уткнувшись лицом в подушку, она снова забилась в рыданиях.

Вечером в Гринькиной избе лохматый парень играл на жалейке. Другой парень и толстая девка плясали, от усталости не проявляя к этому занятию никакого интереса. Большинство гостей уже спали, кто за столом, кто на лавке. Огромного роста мужик храпел на полу посреди избы. Баба возле печки кормила ребенка грудью. Мокеич насаждал на сидевшего рядом Афанасьича.

– Нет, Афанасьич, – кричал он, – вот ты человек умный, так ты мне разъясни, кто главнее: зверь или рыба?

– Да ну тебя! – отмахивался от него напившийся вдрызг Афанасьич.

Парень, которому надоело плясать, сел за стол и неожиданно закричал:

– Горько!

Гости, те, кто проснулся, испуганно схватились за кружки с брагой и повернули головы в тот конец стола, где должны были сидеть молодые. Но там была только Анчутка.

- А где этот... ну, как его... Гринька? – заплетающимся языком спросил Афанасьич.
- На двор пошел, – ответила, поднимаясь, невеста.
- Горько! – заорал опять парень.
- Не ори, – попросил его Афанасьич.

...Владычица лежала у себя в комнате, ворочалась. Ей не спалось. В тереме было тихо, только где-то за печкой изредка трещал сверчок. Вдруг заскрипели половицы. Владычица прислушалась. Кто-то ходил по терему.

- Матрена! – закричала она.

Вбежала встревоженная Матрена:

- Что, матушка?
- Слышишь? – сказала Владычица. Матрена прислушалась.
- Что? – шепотом спросила она.
- Кто-то ходит по терему.

Матрена опять прислушалась. Ничего не было слышно.

- Что ты, матушка, Дух с тобой! – сказала нянька. – Кто же здесь может ходить?
- Нянюшка, я точно слышала, кто-то ходил.
- Так это ж я ходила. Дрова в печку подкладывала. Спи, матушка, закрой глазки и спи спокойно, никто к нам прийти не может.

Матрена поправила на ней одеяло и вышла.

Владычица закрыла глаза. Но вот опять послышался скрип половиц, теперь шаги слышались явственно. Кто-то тяжелой походкой приближался к ее покоям. Она села на кровати с колотящимся сердцем и уставилась на дверь. Дверь отворилась. На пороге показалась длинная фигура в белом. Владычица вжалась в стенку.

- Ты кто? – свистящим шепотом спросила она.
- Я твой муж – Дух Святой, – каким-то странным, нездешним голосом ответил пришелец, медленно продвигаясь вперед. Владычица ущипнула себя. Но это был не сон. Человек в белом приближался к ее кровати. Обходя стол, он зацепился за лавку и с грохотом опрокинул ее.

Белое покрывало слетело. Он схватился за колено и, подпрыгивая, застонал Гринькиным голосом:

- Ай-яяй, коленку зашиб.
- А-а-а-а! – завопила Владычица.

Матрена, выбежавшая на крик, застыла в дверях. Возле неподвижно лежавшей Владычицы суетился Гринька.

- Манька, ты что? – тормозил он ее. – Я ж пошутил. Слышь, что ли, я пошутил просто, и все. – Он обернулся, увидел Матрену и сказал ей: – Матрена, воды.
- Сейчас, – торопливо сказала Матрена. – Сейчас, милок, принесу.

Она по коридору прокралась в сени, из сеней на крыльцо и, спотыкаясь, побежала к деревне.

Гринька, увидев ее в окно, проворчал:

- Вот дура, вместо того чтоб воды подать, она доносить побегла. Где ж тут вода? – он заметался по комнате.

Матрена во весь опор неслась по деревне. За ней увязалась собака. Она тьякала, хватала Матрену за ноги, но та продолжала бежать, не обращая на собаку никакого внимания. С ходу ворвалась она в Гринькину избу.

Гости уже окончательно перепились и валялись кто где. Во главе стола, размазывая по лицу слезы, сидела невеста. Мокеич и Афанасьич сидели в обнимку на другом краю стола.

Увидев Матрену, Мокеич схватил со стола свою кружку и пошел гостье навстречу.

– Афанасьич, друг, – закричал он, – гляди-ко, кто к нам пришел. Матрена, иди сюда, выпей с нами, я тебя люблю.

– Отойди, – отодвинула его Матрена.

– Нет уж, не отойду, – упирался Мокеич. – Уж ты уважь!

Но она дорвалась все же до Афанасьича, нагнула его к себе и приткнулась к его уху губами.

Услышанное настолько потрясло Афанасьича, что он сразу протрезвел. Он прошел по избе и стал будить мужиков, кого тормоша за шиворот, а кого поднимая ногами.

– Эй, мужики, вставайте, беда!

Сквозь разрыв в тучах в окно заглянула луна. Она осветила лицо Владычицы и Гриньку, сидевшего рядом на постели. Гринька наливал в ладони из кувшина воду и плескал ее на Владычицу. Она открыла глаза.

– Ну вот, наконец-то, – проворчал Гринька. – Что за народ пошел, нельзя уж и пошутковать с ними.

– Гринька, это ты? – спросила она.

– Ну а кто ж? – сказал Гринька. – Правда, что ли, Дух Святой?

– Зачем ты это сделал? – спросила она.

– По дурости, – сказал Гринька.

– Беги отсюда, – сказала она, приходя в себя. – Беги, пока есть время, тебя же убьют.

– Какое там время, – сказал Гринька. – Погляди.

Она поднялась и посмотрела в окно. За окном при свете факелов угрожающе гудела толпа. Терем был окружен.

– Что же делать? – заметалась Владычица.

– Ничего, – сказал он. – Сейчас я с ними поговорю.

Он поднял с пола белое покрывало и завернулся в него.

– Ну как, хорош я? – спросил он, расправляя плечи.

Владычица испуганно смотрела ему в глаза. Он неожиданно схватил ее, хотел поцеловать, но она его оттолкнула. Гринька повернулся и направился к выходу. Толпа волновалась перед крыльцом, но никто не решался идти дальше. Факелы, колеблясь, дымили.

На крыльце показалась фигура в белом. Она застыла на мгновение и, медленно спустившись по ступеням крыльца, направилась прямо к толпе. Страх охватил людей. Кто-то упал первым, за ним другой, третий, и вот уже все люди лежали ничком, и факелы их шипели, уткнувшись в сырую траву.

Гринька шел, переступая через распластанные тела. Зацепил краем простыни горящий факел. Простыня вспыхнула. Гринька сбросил ее с себя и кинулся бежать.

– Гринька! – придя в себя, закричал Афанасьич. – Держи его!

– Дураки! – закричал Гринька, перескакивая через лежащие перед ним тела. – Пужливые дураки! Вот я вас уже не так напужаю!

Горбун, мимо которого пробежал Гринька, изловчился и схватил его за ногу. Гринька упал, на него налетели другие, навалились, его били, топтали ногами.

Тут из терема выскочила Владычица. С ходу она влетела в толпу и стала расталкивать их локтями, крича:

– Отойдите! Отойдите!

Толпа постепенно приходила в себя. Люди, опомнившись, расступались перед Владычицей.

Гринька сидел на земле, держась обеими руками за правый бок, и стонал.

– Ну что ж ты, матушка, им мешаешь? – сказал он через силу. – У них же другой радости нет, как навалиться всем миром на одного.

Подошел Афанасьич.

– Матушка, дозвожь, мы его порешим, – буднично попросил он.

– Не дозволяю.

Толпа была недовольна.

– Тогда пуцай уходит от нас, – твердо сказал Афанасьич.

Владычица заколебалась, но, поняв, что другого выхода нет, тихо сказала:

– Пуцай уходит.

– Твоя воля для нас закон, – почтительно ответил от имени всех Афанасьич, склоняясь перед ней в глубоком поклоне.

И все вслед за ним наклонили головы в знак согласия.

Утром Владычица видела в окно, как Гриньку всей деревней провожают в море. Справа от него шел Афанасьич, слева – отец. Позади всех на некотором расстоянии, всхлипывая, плелась Анчутка.

Гринька, избитый, с синяком под глазом, с распухшим носом, прихрамывая, тащил в одной руке узелок с одеждой, в другой вел петуха на ремешке. Еду и воду тащил отец.

Подошли к приготовленной заранее лодке, остановились, Гринька, не торопясь, уложил в лодку оба узла и кувшин с водой, посадил и привязал петуха, осмотрел весла, вернулся к толпе.

– Поди-ка сюда, – поманил он Анчутку и, когда она покорно приблизилась, обнял ее. – Ты, Анчутка, на меня не серчай, я ведь тебе зла не хотел, а уж как все получилось, и сам понять не могу. Хочешь так, а получается этак. Да, может, этак-то все и лучше. Коли тут, – он ткнул себя пальцем в левую сторону груди, – с самого начала нет ничего, так опосля и жисть-то не жисть, а одна маета. А для виду, Анчутка, жить я не могу.

Афанасьич из-под насупленных бровей смотрел на Гриньку.

Анчутка, уткнувшись головой в Гринькину грудь, задержалась от рыданий.

– Ну, будя-будя, – сказал он, отстраняя ее. – Радоваться должна, что так легко сбавилась от меня.

Он подошел к отцу.

– Ну а тебе, тятка, не знаю, что и сказать. Не поминай лихом, что ли.

Отец смотрел на него снизу вверх, пытался сохранить достоинство, но это плохо у него получалось, и он дергал носом, готовый вот-вот разреветься.

Гринька резко прижал его к себе и так же резко отпустил. Пошел было к лодке, но возле Афанасьича, не удержавшись, остановился.

– Ты, Афанасьич, для такого случая хоть бы бороду расчесал, все же народ от супостата избавил. А это разве борода? – он схватил его за бороду и подергал.

Афанасьич разжал его руку, а горбун Тимоха вышел из толпы и угрожающе двинулся к Гриньке.

– Ну-ну-ну, ты полегче, – сказал Гринька, отступая и грозя горбуну пальцем.

Оттолкнул лодку и прыгнул в нее.

– Эй, Тимоха, слышь, что ли! – берясь за весла, крикнул он горбуну, который стоял возле самой воды и сосредоточенно ковырял пальцем в носу.

– Чего тебе? – недовольно, подозревая подвох, спросил Тимоха.

– Не ковырай в носе, мать помрет.

Горбун испуганно дернул рукой.

– Ковырай, ковырай, я пошутил, – разрешил Гринька, налегая на весла.

Петух вскочил на корму лодки и, захлопав крыльями, отчаянно закукарекал.

Владычица смотрела в окно, как удаляется Гринькина лодка. Сзади подошла нянька и, погладив хозяйку по голове, облегченно сказала:

– Ничего, матушка. Дух с ним совсем. Авось не пропадет.

А потом пришла в деревню беда. Заболела скотина. В одном дворе корова лежала на боку и смотрела грустными глазами на свою хозяйку, которая причитала, обливаясь слезами:

– Что же ты, кормилица моя, глядишь на меня своими глазоньками! Да и кто же тебе сделал порчу такую?

В другом дворе старик сидел и молча смотрел на дергающуюся в конвульсиях корову.

Еще одна корова лежала дохлая посреди деревни. Жалобное мычание не умолкая висело в воздухе.

Возле дома Владычицы собралась ропщущая толпа. Владычица металась по своей комнате, боязливо поглядывая в окно и не решаясь выйти к народу.

Дверь в ее комнату отворилась. Подталкивая перед собой девчонку лет пятнадцати, вошел Афанасьич.

– Вот, матушка, – сказал он, – Ксюшка болтает, будто видела, как Анчутка на восходе солнца собирала возле дома росу.

– Сама видела, матушка, – охотно подтвердила Ксюшка. – Вышла я это утром на двор, гляжу, Анчутка над травой руками эдак разводит и какие-то слова говорит, а какие – не разберешь: видать, бесовские. А еще, матушка, на плече у ней на левом, вот на этом месте, – пятно. С ладонь, пожалуй, а то и поболее.

Перед теремом Матрена и горбун Тимоха воевали с бушевавшей толпой.

– Отойдите, окаянные! Отойдите, кому говорят! – надрывалась Матрена.

– Куда лезешь! – в тон ей кричал горбун, тыча кому-то кулаком в нос.

– А пущай выйдет, Владычица! – петухом налетал на Матрену Степан. – А пущай она нам объяснит, за что Святой Дух посылает на нас такую кару.

Дверь терема резко распахнулась, на крыльце появились Владычица, Афанасьич и Ксюшка.

Толпа мгновенно умолкла. Ксюшка старалась держаться за спиной Владычицы. Владычица схватила ее за руку и вытащила вперед.

– Ну, говори, – приказала она.

Ксюшка нерешительно мялась.

– Говори, – повторила Владычица, – не бойся. А то бегать наушничать все горазды, а выйти и сказать правду народу – страх берет.

Ксюшка сбежала с крыльца и стала пробираться к Анчутке. Народ расступился. Оставшись один на один с Ксюшкой, Анчутка смертельно побледнела.

Ксюшка прыгнула на нее кошкой, схватила за ворот, рванула. Платье затрещало, обнажив Анчуткину спину. И все увидели большое родимое пятно у нее на плече.

– Вот он, колдовской знак! – торжествующе объявила Ксюшка.

Толпа кольцом сомкнулась вокруг Анчутки и угрожающе надвигалась. Анчутка в страхе озиралась, заглядывала в лица людей, ища в них сочувствия, но все они были одинаково беспощадны.

– Топить ее! – истошно завопил кто-то.

– Топить! – всколыхнулась толпа.

– Стойте! – вскинула руку Владычица, и толпа перед ней расступилась.

Она шагнула к Анчутке, отогнула разорванный ворот платья, который Анчутка придерживала рукой, глянула на пятно и снова закрыла.

– Пушай она от нас уйдет, – объявила Владычица народу свой приговор.

– Пушай уйдет, – повторил Афанасьич.

– Пушай уйдет! – подхватила толпа.

– Благодарствую, матушка, – осмелев, поклонилась Анчутка Владычице. – Благодарствую за милость твою, за то, что ты Гриньку сперва загубила, а теперь вот и мой черед наступил. – Она выпрямилась и гневно крикнула: – Не можешь простить нашу с Гринькой любовь! Силу свою показываешь!

Владычица хмуро посмотрела на нее и сказала:

– Иди за мной! – и повернулась к терему.

– Не пойду! Не пойду! – Анчутка в ужасе кинулась прочь, но тут же забилась в руках мужиков.

Они протащили ее к терему, втолкнули в комнату. Вошла Владычица и прикрыла за собой дверь.

Анчутка стояла посреди комнаты и смотрела на Владычицу со страхом и ненавистью.

– Сядь! – приказала Владычица. Анчутка села.

Владычица подошла, погладила ее по голове и тихо сказала:

– Бедная ты моя.

Анчутка, не ожидавшая такого начала, упала лицом на стол и зарыдала.

– Ладно-ладно, – проводя ладонью по ее волосам, успокаивала Владычица.

Зачерпнула ковш воды из деревянной бадьи, стоявшей на лавке, поднесла гостье. Та судорожно впилась в ковш, стучала о его края зубами, но никак не могла напиться – вода проливалась, текла по подбородку на грудь.

Ожидая, пока Анчутка успокоится, Владычица ходила по комнате из угла в угол, потом заговорила, медленно подбирая слова:

– Вот ты говоришь насчет Гриньки и сама знаешь, что зря. Правда, люб он мне был и на тебя зло таила, но это все раньше, а теперь здесь, – она ткнула себя пальцем в грудь, – ничего не осталось. Ни любви, ни зла. Место мое такое – не позволяет сердцу на одного тратить, остальным не хватит. И кабы ты была на моем месте, а я на твоём, то ты сделала бы то, что делаю я, потому что никто из нас в жизни своей не волен, а идет по тому пути, который Он, – она подняла палец вверх, – нам назначил.

Владычица остановилась у окошка.

– Ты погляди, сколько людей – столько и радости и горя. У каждого свое. Но ведь радость при себе держат, а горе несут ко мне. И Палашка, и Степан, и Тимоха. Как будто у меня своего мало. А я все принимай, всех утешай. Это ж откуда столь силы взять, чтоб такое-то выдержать?

И такая тоска и горечь были в глазах у Владычицы, что Анчутка не выдержала – отвела взгляд.

Владычица опустилась на скамью.

– Никому не говорила, а тебе скажу – не знаю, кому из нас нынче тяжелее.

Она закрыла лицо руками. Анчутка подошла к ней, встала на колени и приложила губами к ее ногам.

– Прости, матушка, – тихо сказала Анчутка. – Виноватая я перед тобой.

– Иди, – не отрывая рук от лица, сказала Владычица.

Анчутка направилась к выходу, взялась за ручку двери, и тут Владычица остановила ее:

– погоди.

Подошла к Анчутке, внимательно на нее посмотрела и тихо сказала:

– А что ж ты с Гринькой-то не ушла?

Анчутка опустила голову и еле слышно сказала:

– Не взял он меня.

Владычица отвернулась и, не глядя на Анчутку, вздохнула:

– Нет, Анчутка, ты не любила его.

Анчутка бросила на Владычицу отчаянный взгляд и вдруг сорвалась с места и бросилась к выходу.

Владычица подошла к кровати и легла, уткнувшись лицом в подушку.

Потом во дворе раздался шум. Люди что-то кричали на разные голоса, а слов было не разобрать. Владычица подняла голову и прислушалась. Вошла Матрена.

– Что там за шум? – поинтересовалась Владычица.

– Да ведь это... Анчутка от тебя выбегла, ровно шальная, да напрямки к морю. Ее хотели пымать, да куды там – с обрыва головой бухнулась, и только круги по воде.

Владычица села на кровати и расширенными от ужаса глазами посмотрела на Матрену.

Владычица бродила по лесу, искала траву. Лето клонилось к осени, и это было заметно по тому увяданию, которое тронуло уже своим дыханием лес. Было сыро и холодно.

Она зашла далеко и не столько собирала траву, сколько просто гуляла, наслаждаясь одиночеством и природой. И вдруг услышала какой-то звук, который показался ей сначала криком зверя, а потом она поняла, что это стонет человек. Стон повторился, и она, продираясь сквозь кусты, осторожно пошла на него. Когда перед ней открылась небольшая поляна, она встала за дерево и затаилась.

На краю поляны под деревом стоял шалаш. Перед шалашом валялись перья и пустой ремешок, привязанный к колышку. Из шалаша доносился стон. Владычица осторожно приблизилась и заглянула внутрь шалаша. В шалаше на свалывшейся подстилке из отсыревшего сена лежал, разметаившись, Гринька. В какое-то мгновение она решила, что ей надо уйти, и пошла быстро, не оглядываясь, в сторону деревни. Наткнувшись на дерево, остановилась, прислонилась к нему щекой. И вдруг со всей ясностью поняла, что именно должна сейчас делать. Уже не раздумывая ни секунды, она кинулась со всех ног назад к шалашу. В шалаше она расправила сено под Гринькой, сняла с себя полушубок, укрыла им Гриньку, а его голову положила себе на колени. Напоила его из стоявшего рядом кувшина болотной водой. Он успокоился и затих.

Дело шло к вечеру, холодало, у Владычицы затекли ноги, но она сидела над Гринькой с неподвижным лицом, словно окаменела. Но вот он пришел в себя и открыл глаза. Увидев ее, он несколько не удивился.

– Наконец-то, – вздохнул он облегченно. – Все же ты пришла. А я уже боялся, что ты меня не найдешь. Сейчас я встану, и мы с тобой отсюда пойдем.

Выражение ее лица несколько не изменилось, будто она и не слышала этих слов, не заметила его пробуждения. Только из-под ресниц выступили и покатались по щекам две слезинки.

– Я так долго шел к тебе, – сказал он, помолчав и отдышавшись, – да вот захворал. Вчерась ночью волки напали. Я на дерево влез, а петуха задрали. Думал, один останусь, да вот ты подоспела. Теперь мы с тобой убежим отсюда.

Он хотел приподняться и снова потерял сознание.

В сумерках они пробирались к ее терему, далеко огибая деревню.

Вошли в терем через скотный двор. Она поддерживала Гриньку, помогая ему по шаткой лестнице взобраться на сеновал. Устроила ему в сене постель, накрыла полушубком. Потом

прошла мимо Матрениной комнаты на цыпочках к себе, налила из кувшина кружку молока, отрезала ломоть хлеба. Только собралась выйти, когда на пороге появилась Матрена.

– Где это ты так поздно гуляла, матушка? – подозрительно спросила нянька.

– Траву в лесу собирала, – ответила Владычица, отхлебывая из кружки, – да заплутала маленько.

– А я уж собралась идтить в деревню, народ скликать. Ой, матушка, нешто можно одной далеко так в лес уходить? – Покачав головой, Матрена ушла.

Владычица подождала немного, долила в кружку молока и понесла Гриньке. Гринька спал, и дыхание его было спокойным. Владычица поставила рядом с ним кружку, накрытую хлебом, посмотрела на Гриньку и неожиданно для самой себя быстро поцеловала его в лоб. Тут же испугалась своего поступка и посмотрела на крышу. Но все было тихо. Дух ничего не заметил.

Летели на землю из-под топора щепки. Афанасьич тесал доски для новой лодки, каркас которой стоял тут же, во дворе. На завалинке сидел пьяный Мокеич и мотал головой:

– Мальчишку мово ты зря погубил, Афанасьич. Хороший был мальчишка, веселый. А то, что любил поозоровать, так это ж только по малолетству.

– Малолеток, – усмехнулся Афанасьич. – У меня в такие годы уже двое ребят было, а Гринька твой все в малолетках ходит. Да и озорство озорству рознь.

– Да он же просто любил пошутковать над людьми, и зла в нем не было никакого, – стоял на своем Мокеич. – Уж на что я ему отец родной, а и надо мной шутовал. Грех ты взял, Афанасьич, на свою душу, большой грех.

Афанасьич опустил топор.

– А что ты меня-то винишь? – сказал он сердито. – Вся деревня супротив твоего Гриньки стояла. Хороши тоже шуточки – в Духа Святого вырядился. Да ты передо мной на коленях ползать должен, что я Владычицу уговорил над им сжалиться. Анчутка вон не за такое на дно пошла. Да он небось где ни то пристал и живет себе припеваючи, а ты по нем тут...

Он не договорил, увидев подошедшую к дому Матрену.

– Ты чего? – спросил он Матрену.

– Поди-ка, – поманила она.

Он бросил на землю топор и подошел. Матрена поднялась к нему на цыпочках и зашептала в самое ухо:

– Гринька-злодей объявился. Уж я тоже взяла грех на душу, видела все и молчала покуда, а тут ведь поправился, а сидит...

Владычица вошла к себе в комнату и, вздрогнув, остановилась. В комнате за столом сидел Афанасьич. При ее появлении он слегка привстал и, сдержанно поклонившись, сказал:

– Вот пришел, матушка, кой о чем покалякать.

Дурное предчувствие охватило ее, но она не выдала себя и, сев напротив Афанасьича, разрешила:

– Калякай.

– Хочу, матушка, загадочку тебе загадать. Ты у нас смышленная, может, и отгадаешь. Сидела белочка в своем дупле, ховала зайчика. Пришли охотнички, говорят: «Белочка, а белочка, отдай нам свою зайчика». Что белочка ответила? – старик лукаво прищурился.

– А может, никакого зайчика у ней не было? – в тон ему спросила Владычица.

– Был, – уверенно сказал Афанасьич.

– Ну тогда, значит, смотря какой зайчик и какая белочка, – сказала Владычица. – А то ведь может сказать: «Не отдам».

Старик покачал головой, недовольный таким ответом.

– Охотнички-то – ведь они народ лютый. За зайку могут и белочке шкурку попортить.

У Владычицы пересохло во рту. Она зачерпнула из бадьи ковш воды, отхлебнула, не отрывая взгляда от гостя.

– Трудную я тебе, матушка, загадочку загадал, – сказал он, – а отгадка у ней простая. Выпустить надо белочке зайку в лес, и пушай себе бежит да обратно не возвращается.

Она перегнулась через стол к старику и, понизив голос, сказала:

– А ты, охотничек, за свою старую шкурку-то не боишься? А то, гляди, как бы белочка волчицею не обернулась.

– А ты меня, матушка, не пужай, – сказал старик, поднимаясь. – Ты хоча и набрала силу большую, а супротив меня слабовата будешь. Старая-то Владычица с моей помощью под холмик легла. А и та, что до ней была, тоже, – старик приблизил к ней свое лицо и хихикнул. Вдруг лицо его преобразилось и приняло откровенно злобное выражение. – Давай говорить напрямки. – Старик заходил по комнате. – Ты с Гринькой живешь, и я знаю про это. Но мне-то что. Я старый. Я много кой-чего знаю, да молчу. Но народ узнает – худо будет. Вера в людях пропадет. А как жить без веры? И потому мой тебе сказ такой. Нонче, как только стемнеет, отведешь Гриньку в лес. И пушай себе идет, куды хочет, никто его трогать не будет. И тогда все, что было, забудем. А если все в точности не исполнишь, помни: в землю ляжешь живая. Прощай, матушка, – сменив тон с резкого на почтительный, заключил Афанасьич и, вежливо поклонившись, вышел.

Переждав немного, Владычица пошла за ним. Дверь в комнату Матрены была приоткрыта, в щелочке чернел глаз Матрены. Владычица потянула дверь на себя, едва не прищемив няньке нос.

Гринька ждал ее на сеновале. Самодельным ножом вырезал он из дерева какую-то фигурку.

– Что это? – спросила Владычица.

– Это петух, – сказал Гринька, протягивая ей деревяшку.

Владычица положила фигурку в сторону. Взяла из рук Гриньки нож, тоже отложила. Обняла Гриньку.

– Ты что? – испугался он. – Не боишься?

– Теперь все одно, – сказала она.

Вечером Матрена услышала плач и вышла из своей комнаты. Приложила ухо к двери Владычицы, послушала. Потом вышла на крыльцо и увидела: по тропинке в сторону леса с узелком в руках шел, спотыкаясь как пьяный, Гринька. Матрена постояла еще на крыльце и вернулась в терем, тихо прикрыв за собою дверь.

Петухи, надрывая глотки, старались перекричать друг друга. Над деревней вставало утро. Владычица сидела за столом, положив под голову руки. Очнувшись, подняла голову. По ее изможденному лицу было видно, что она всю ночь не ложилась.

На дворе послышался голос Матрены:

– Куда ты прешь? А ну отойди отседова, сказано: не пущу.

Владычица выскочила на крыльцо. На крыльце Матрена боролась с Мокеичем, который пытался пробиться в терем.

– Отойди, – сказала Владычица, пихнув няньку локтем. – Ты что, Мокеич? – ласково спросила она.

Мокеич упал на колени и, воздев к ней руки, закричал в голос:

– Гриньку люди в лесе нашли... убитый...

Владычица сорвалась с места и побежала в сторону леса. За ней, отставая и падая, неся Мокеич.

Гринька лежал под кустом, наспех прикрытый хворостом и палыми листьями. Вокруг него молча толпился народ. Владычица разогнулась, посмотрела в лица людей. И каждый, встречая ее взгляд, опускал голову.

– Сейчас, – сказала Владычица, – всем идтить к моему терему.

Голос ее был спокоен. Она направилась в сторону деревни, сперва медленно, потом, вспомнив что-то, бегом.

Когда вошла к Афанасьичу, он сидел за столом и спокойно пил молоко. Увидев Владычицу, привстал, поклонился:

– Здравствуй, матушка! Садись откушай со мной молочка.

Одной рукой она выбила у него молоко, другой, сжатой в кулак, ударила старика в переносицу. Он опрокинулся через лавку, пытался вскочить, но Владычица снова свалила его и долго в исступленной ярости топтала ногами. Потом, шатаясь, вышла за дверь. Старик со стоном поднялся и, размазывая по лицу кровь, поплелся за ней.

Когда подошла к толпе, все наклонили головы, и мужики сняли шапки. Она прошла вдоль толпы туда и обратно. Остановилась. Тихо сказала:

– Вчерась я проводила Гриньку в лес. Он подбивал меня уйти с им, говорил, будто знает место, где нас никто не найдет. Я не пошла, потому как думала жить ради вас. А теперь мне больше жить неохота. Ни для вас и ни для себя. Вы убили Гриньку, убейте теперь и меня. Я была с им как с мужем.

Толпа зашумела. Держась за разбитую губу, выступил вперед Афанасьич.

– Не слушайте ее, люди! – закричал он. – Рассудок у нашей матушки помутился. Напраслину возводит она на себя.

Владычица подошла к нему и сказала почти ласково:

– Зачем так говоришь, Афанасьич? Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь, что я с им жила.

– Врешь! – закричал Афанасьич, отшатываясь от нее. – Не знаю!

– И ты не знаешь, Матрена? – обратилась Владычица к няньке. – Не ты ли нас подглядела, а потом Афанасьичу донесла?

– Не было такого, – глядя в глаза Владычице, твердо сказала Матрена.

– Ну ладно, – Владычица вбежала в дом и тут же вернулась с мужским кушаком в руке. – Вот кушак. У Гриньки я на память взяла. Мокеич, может, это не Гринькин?

– Гринькин! – Мокеич выхватил у нее кушак и, припадая к нему лицом, заплакал.

– Коли этого мало, так, может, на сеновал пойдем, поглядим, где мы с ним целовались да миловались? – предложила она толпе.

– Бей ее! – заорал горбун, выскакивая вперед и замахиваясь на Владычицу дубиной.

Афанасьич успел удержать его руку.

– погоди, Тимоха, – сказал он. – Ей будет другая кара.

– Об одном только прошу, – Владычица поклонилась народу, – покладите вместе с Гринькой. Не дали нам вместе быть на земле, хоть под землей будем вместе.

Секундное молчание нарушил Афанасьич.

– Не можем мы этого допустить, – мрачно сказал он, опуская голову. – Гринька был человек простой, и лежать ему среди простых людей. А ты какая ни на есть грешная, а Владычица, и похороны тебе будут особые.

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?

Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?

Старухи в черных одеждах выстроились в две шеренги по обеим сторонам дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Крайняя начинала, остальные подхватывали, косясь на носилки, которые проносили между ними два мужика. Владычица лежала вся в белом и смотрела живыми глазами в небо. Старухи с песней поворачивали и шли вслед за носилками. В толпе, как и положено при настоящих похоронах, причитали и плакали бабы. Носилки принесли на кладбище и положили возле могилы. Афанасьич первым наклонился и поцеловал Владычицу в лоб. За ним по очереди пошли остальные.

– Доченька, моя родная! – кинулась к носилкам Авдотья, но ее тут же схватили и оттащили, бьющуюся в истерике, в сторону.

Со восточной со сторонюшки
Подымались да ветры буйные...

– Опускайте! – приказал Афанасьич.
А старухи еще громче завывали:

Со громами да со гремучими,
Со молоньями да со палючими...

И вырос на кладбище Владычиц новый холм.

На рассвете другого дня горбун Тимоха ходил по деревне и, как ни в чем не бывало, выкрикивал весело:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди. Будем пить и гулять, Владычицу визнавать.

Но никто не откликнулся на его веселый призыв. Наглухо были заперты двери и окна. Не бродила по деревне скотина, не копошились в кучах мусора куры, собаки забились в будки и не выглядывали. Даже дым не курился над трубами.

На поляне возле леса за большим столом сидели старики, готовые к церемонии признания. Вопросительно и тревожно поглядывали они на сидевшего во главе стола Афанасьича, но тот с каменным выражением смотрел в одну точку перед собой и молчал.

Солнце поднялось уже высоко. Сбившийся с ног Тимоха медленно брел по деревне и, потеряв всякую надежду, уныло выкрикивал:

– Эй, народ, выходи, никто дома не сиди...

Потом сел в пыль посреди дороги и, обращаясь к молчащим избам, отчаянно закричал:

– Да что ж это деется, люди? Что же вы не выходите? Неужто теперь нам без веры жить?

Обхватив голову руками, он зарыдал.

И тогда со скрипом робко приотворилась какая-то дверь...

1968 год

Запах шоколада

Недавно В. В. оказался в польском городе Бжег на Одере, где ровно сорок лет тому назад стоял 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк. Сначала В. В. ничего не мог вспомнить, но вдруг подул каким-то ветром, возник шоколадный запах, он вспомнил, что да, тут была шоколадная фабрика, а рядом с ней солдатская столовая, а тут была (вот она тут и есть!) булыжная мостовая от столовой к казарме. Когда солдаты шли по этой дороге в столовую или из, вдоль строя бежали мальчишки и просили «зигарек». В. В. думал, что зигарек – это что-то курительное, а оказалось – часы. Привычка выпрашивать часы перешла к детям послевоенных лет от предыдущего поколения, произраставшего во времена немецкой оккупации. У германских солдат часы-штамповка ничего, говорят, не стоили, но у их советских преемников у самих наручные часы были редкость.

Дорога шла мимо озера, где, убегая в самоволку, В. В. на берегу, отдаленном от пляжа, в негустых зарослях ивняка встречался с девушкой по имени Элька Гемба. Они виделись регулярно, но всегда только днем, потому что вечером долгое отсутствие В. В. в казарме было бы замечено. Днем же он был почти всегда свободен, поскольку служил с некоторых пор планшетистом при командире полка, дежурил только во время нечастых ночных полетов, а в остальное время его ничем не занимали и не тревожили, может быть, потому как раз, что, отсутствуя то на ночных дежурствах, то в самоволках, он выпал из сферы внимания своих непосредственных мелких начальников.

Их знакомство произошло через папиросы «Неман», которые В. В. как авиамеханик получал по пачке в день. Она подошла, попросила закурить, потом подошла еще. Так оно и продолжилось. В. В. приходил со своим «Неманом», угощал ее, угощался сам, но их отношения, несмотря на настойчивые домогательства В. В., за пределы платонических, увы, так никогда и не перешли. Хотя она иногда обещала большее.

Она работала посменно на той самой шоколадной фабрике, и сама вся пахла шоколадом целиком, запах шоколада источали ее пальцы, губы и волосы. Этот запах кружил ему голову, сводил с ума не меньше, чем даже прикосновение к ней.

Ей было двадцать пять, а ему двадцать. Ему казалось, она не знала, как его зовут, и даже не интересовалась. Она называла его просто Мальчик, и ему это нравилось. Она учила его польскому языку, всяким словам, приличным и неприличным, и учила целоваться, а когда он слишком распускал руки, она убирала их оттуда, куда они забирались, прижимала к груди, целовала их и тихо шептала: «Я ти (тебе) дам. Мальчик. Скоро. Але не teraz (но не сейчас). Але дам».

Они встречались в кустах и только иной раз купались вместе, но расходились поврозь, потому что общение с ней грозило ему наказанием «за связь с местным населением», а это что-то близкое к моральному разложению и шпионажу. А у нее тоже могли быть немалые неприятности, потому что женщина, которая путается с русским солдатом, – это курва и достойна презрения.

Вспомнив Эльку, он вспомнил и весь этот город – до каждого дома и дерева и до прочих мелких подробностей и, оглядевшись вокруг, вдруг увидел: да здесь совсем ничего не изменилось! Все стоит на тех же местах и в том же виде, как сорок лет назад, словно время над этим местом не властно. И он вдруг почувствовал, что расхожее выражение «время летит» неправильно. Оно движется очень медленно, может быть, даже вообще стоит, а мы сквозь него пролетаем.

Впрочем, как сказать... Теория относительности утверждает, что если вы сидите в поезде и вам кажется, что поезд стоит, а дома и деревья едут мимо, то считайте, что так оно и есть.

В Бжег на Одере прикатил он из Чехословакии, из города Миловице, в котором еще недавно проживало сто тысяч человек советских военных и обслуживающих. После оставления его советскими войсками Миловице превратился в город-призрак. Пустые улицы, танковые ангары, армейский клуб, вывеска на строении «...ольствен... агазин» и сотни совершенно одинаковых «хрущевных» домов, пустых и безжизненных, как после атомной войны, с окнами нижних этажей, заклеенными (зачем?) газетами «Красная звезда», «Правда», «Известия».

Осматривая этот странный город-призрак, он вспомнил свою собственную службу и места, где она протекала, сел на свой «БМВ» и через четыре часа въехал в город, из которого его когда-то вывезли на тягаче «ГАЗ-63».

Добравшись до центра, он вылез из машины, стоял, вертел головой, но ничего не мог вспомнить.

Пока не подул от шоколадной фабрики.

И тогда город стал проступать в памяти, как фотография в проявителе, и проявленное один к одному совместилось с реальностью. И он тут же нашел и узнал дома, которые были казармами, а теперь в них жили польские цивильные обыватели (*obyvatel* – по-польски гражданин), и дорогу, и саму столовую, и озеро, вдоль которого проходила дорога.

В пивной возле озера он встретил одного русского человека, который здесь жил давно, по-польски не понимал ни слова, но знал всех и за кружку пива готов был на многое. За кружкой пива В. В. спросил его, знает ли он Эльку Гемба, он сказал «знаю», и они поехали. По дороге В. В. ругал себя, думая, зачем ему встречаться с какой-то старухой, что может иметь она общего с девушкой, от которой он уходил с искусанными губами и распухшими частностями приложения к организму, но вдруг его охватило и испугало странное предположение, что если в этом городе время застыло, то, может быть, и Элька осталась такой, как была. И он встретит молодую женщину, которая скажет: «Мальчик, что же с тобой случилось?» Но его провожатый совпал в своих мыслях с В. В. и предупредил: «Но она старушка. Ей лет шестьдесят пять». В. В. согласился, что так примерно быть и должно, и, как ни странно, обрадовался.

Они подъехали к какому-то дому, В. В. постучался в дверь на первом этаже, дверь отворилась, и запах шоколада наплыл на него и окутал словно туман, в котором предметы немедленно потеряли отчетливость очертаний. Из тумана не сразу вырисовалась хозяйка, она стояла на пороге и выжидательно смотрела то на него, то на провожатого, вытирая мокрые руки о фартук. Ошалев от запаха, он внезапно потерял представление о времени, возрасте и обстоятельстве места действия и потянулся к ней руками и телом, но движение оказалось скорее воображаемым, чем физическим, и осталось незамеченным двумя другими участниками встречи, которые, впрочем, тоже были как будто взволнованы.

– Ну вот, – сказал провожатый, раскинув руки, одну – в сторону хозяйки, другую – в сторону В. В., как бы собираясь их обоих вместе соединить. – Ну вот.

В. В. пришел в себя и теперь смотрел на хозяйку с сомнением. Она была в возрасте, но взгляд еще живой и женский. Он спросил, зовут ли ее Элька. Она закивала головой: «Так, так, естем Элька». Он спросил фамилию. «Гембка». Не Гемба, а Гембка, но, может быть, он забыл, перепутал, может быть, Гембка. Он, взглядываясь в нее, спросил, не было ли у нее когда-нибудь русского друга, она, взглядываясь в него, сказала: нет, нет, русского не было. Хотя ей сейчас было бы приятно, чтобы какой-нибудь пожилой иностранец разыскивал ее из лирических побуждений. «Но может быть, ты не помнишь?» – спросил ее провожатый.

«Нет, – сказала она, сожалея о несостоявшемся прошлом. – Если бы у меня такое было, я бы запомнила».

В. В. на этом не остановился и спросил, не жила ли пани когда-нибудь по улице Школьна, чтернаштя (четырнадцать). Пани покачала головой: нет, нет, не жила. И вдруг спохватилась: «Я знаю, о ком вы говорите! Она жила на Школьной, а потом переехала на Костюшко, у нее дочери лет уже, может, сорок. Да, правильно, ее звали Элька Гемба, «але она юж не жие» (но ее уже нет в живых).

Правду сказать, В. В. не очень-то удивился, он даже и не очень-то надеялся увидеть ее живой. Он сказал: извините, пани. Пани сказала: ну что вы, что вы. Она закрыла дверь, а он начал спускаться вниз, но вернулся и не успел еще дотянуться до кнопки, как дверь отворилась и хозяйка возникла снова с таким выражением, словно надеялась, что приезжий напомним ей что-то, что сама она в памяти не удержала.

– Скажите, – сказал В. В. – вы работаете на шоколадной фабрике?

На фабрике? Шоколадной? Она удивилась: почему пан так думает? Пан объяснил: пахнет шоколадом. Правда? Она смутилась, как будто этот запах уличал ее в чем-то и соотносился с ней не по праву. Ах да! Она делала торт. Для внука. У него день рождения. И для него шоколадный торт. А на фабрике она не работает, пенсионерка. А когда работала, работала не на фабрике, а...

– Пшепрашем, пани, – перебил он ее. – Пшепрашем и привет вашему внуку. И передайте ему от меня... – Он снял с себя часы... чепуховые... та же штамповка, но современная, с календарем, будильником, таймером, чем-то еще и уверением, что в этих часах можно нырять на пятьдесят метров. – Вот... от меня... сигарек...

Провожатый вышел с ним на улицу и предложил поехать к Элькиной дочери. В. В. не захотел, а он спросил: «Почему ж ты не хочешь ее увидеть? Может быть, она твоя дочь?» – «Нет, – сказал В. В., – она не может быть моей дочерью». – «Почему?» – «Потому что не может быть».

Хотя так могло быть, но так не случилось. В день последнего их свидания В. В. расхрабрился и проявил большую настойчивость, и она уже почти совсем поддалась, но в последнее как будто мгновение опомнилась, оттолкнула его от себя и твердо сказала: нет, так не бенде (не будет). Он обиделся и отодвинулся. Она придвинулась, поцеловала и сказала на ухо, словно кто-то мог их подслушать: «Я ти кохам (я тебя люблю), Мальчик, я ти кохам». Он продолжал сопеть обиженно и услышал старый текст с новой вариацией: «Я ти дам. Але не тераз. Але не тутай (не тут)».

– Когда? Где? – спросил он сердито, подозревая, что ответа не будет, а будет сдавленный смехок, нежный поцелуй и повторение, что але не тераз.

– Ютро (завтра), – сказала она просто. – Ютро вечером. Пшидешь до мене, Школьна, чтернаштя...

И стала объяснять ему, что она хочет, чтобы все было красиво. Чтобы были вино, свечи...

– Я на тебе женюсь! – вдруг пообещал он, хотя его никто за язык не тянул. Но он не врал, чувствовал, что он правда хочет прийти к ней, и прийти навсегда.

– Глупый, глупый, – сказала она, произнося это слово на польский манер, когда «л» почти не слышится и слово звучит как «гупый». – Гупый, то ти не вольно (нельзя).

– Можно, – сказал он с вызовом не слышащим его высшим силам. – Можно. Я ничей не раб и сам знаю, на ком можно жениться, на ком нельзя.

– Не вольно, – повторила она. – Ти ниц (ничего) не вольно, але я ти дам. Ютро вечером, Школьна, чтернаштя. Запаментал (запомнил)? Школьна, чтернаштя...

...В тот день под влиянием каких-то неосознанных ими ощущений они расслабились и пошли по городу вместе. Никогда этого не делали раньше. А тут... Пошли вместе, и она взяла его под руку. И он шел, замерев, желая на всю жизнь приютить ее руку здесь.

Они не заметили группу военных на другой стороне улицы. Это были офицеры чужой, танковой, части и с ними один солдат.

Между прочим, в Советской армии между родами войск всегда была вражда, такая же бессмысленная и такого же точно происхождения, какая бывает между живущими по соседству народами. В. В. приходилось служить в местах, где встретить в темном закоулке человека с погонами другого цвета бывало страшней, чем солдата враждебной армии.

Солдат в черных погонах приблизился ленивой рысцой и, никак не обращаясь, сказал:

– Старший лейтенант Куроедов приказал тебе подойти.

Будучи человеком законопослушным (не очень, не очень), В. В. в другое время обязательно бы (может быть) подошел. Но тут с ним была девушка, в которую он был по уши (сегодня он это понял), потерявши голову (ой, что-то тут, кажется, грамматически не согласуется), в общем, совсем не в себе.

Элька хотела немедленно выдернуть руку, но он ее придержал и, слегка только повернув голову к гонцу, сказал:

– Если старшему лейтенанту нужно, скажи ему, пусть подойдет.

Гонец порысил назад, к офицерам, доложил, и В. В. увидел, что от группы офицеров отделился и направляется к ним старший лейтенант, наверное Куроедов.

– Мальчик, втекай (беги)! – прошептала Элька и вырвала руку из-под его подмышки.

– Зачем же? – спросил он беспечно.

Офицер прибавил шаг.

– Мальчик! – сказала Элька.

Он взял ее руку, чтобы пристроить на старое место.

Офицер побежал.

– Мальчик, – закричала она шепотом. – Мальчик, я ти прошу, втекай и запаментай: Школьна, чтернаштя...

Наконец-то он понял, что она права, и потек. Будучи лет на шесть-семь-восемь моложе старшего лейтенанта Куроедова, ему от последнего оторваться было не трудно. Но трудней было уйти от реальности.

Утром следующего дня 159-й гвардейский истребительный, Краснознаменный и ордена Суворова третьей степени полк был выстроен на плацу, и, сопровождаемый замполитом полка (под присмотром начальника особого отдела), старший лейтенант Куроедов ткнул пальцем в одну из выпяченных грудей и сказал уверенно:

– Он!

После чего В. В. был доставлен на гарнизонную гауптвахту, а оттуда прямо на поезд и в конце концов сам себя обнаружил на пересыльном пункте (армейском, а не тюремном) в городе Кинель Куйбышевской области. Власти проявили свойственный им гуманизм и не посадили преступника, а всего лишь выслали на родину.

Ужин при свечах с обещанными последствиями на Школьной, чтернаштя, не состоялся. И в появлении когда-то на свет Элькиной дочери, проживающей и поныне в городе Бжеге на Одере, В. В. ни малейшим образом не повинен.

А путешествие сорок лет спустя закончилось тем, что таможенник на польско-чешской границе спросил В. В., что он везет. В. В. показал две бутылки вина.

– А шоколад? – поинтересовался таможенник и попросил открыть багажник. Там не оказалось ничего, кроме запаски, набора инструментов и буксировочного троса на всякий случай. – Странно, – сказал таможенник, – очень странно, но ваша машина пахнет так, как будто сделана из шоколада.

– Моей машине это приятно слышать, – ответил В. В., – но она сделана в основном из металла. Правда, из надежного металла, потому что это «БМВ».

– Хорошая машина, – подтвердил таможенник с уважением. – Пан не собирается ее продать?

И, узнав, что пан не собирается, вернулся к теме шоколада, которым, по его мнению, где-то что-то все-таки пахло. В. В. ничем ему помочь не мог. Ничего похожего на шоколад он с собою не вез, кроме памяти, которая может хранить запахи, но вряд ли способна их источать.

1994

В кругу друзей **Не очень достоверный рассказ** **об одной исторической вечеринке**

Этот дом стоял за известным всему миру высоким забором из красного кирпича. В доме было много окон, но одно из них отличалось от всех прочих хотя бы тем, что светилось во всякое время суток. И люди, собираясь по вечерам на широкой площади перед забором, вытягивали шеи, до слез напрягали глаза и взволнованно говорили друг другу:

– Вон, видите, оно светится. Он не спит. Он работает. Он думает о нас.

Людям было лестно, что он думает именно о них, а не о чем-нибудь постороннем.

Если кто-нибудь из провинции ехал в этот город или должен был остановиться проездом, ему наказывали обязательно побывать на той знаменитой площади и посмотреть, горит ли окно. И осчастливленный житель провинции, возвращаясь домой, авторитетно докладывал на закрытых и общих собраниях: да, горит, да, светится, и, судя по всему, он действительно не спит и думает о нас.

Конечно, уже и в те времена некоторые люди злоупотребляли доверием своих коллективов: вместо того чтоб смотреть на окно, мотались по магазинам – где бы чего достать. А по возвращении все равно докладывали: светится, – и попробуй скажи, что нет.

Окно, конечно, светилось. Но того, про кого говорили, что он не спит, за тем окном никогда не бывало. Его заменяло гуттаперчевое чучело, сделанное лучшими мастерами, да так искусно, что, пока не потрогаешь, нипочем не поймешь, что оно не живое. Чучело повторяло основные черты оригинала и держало в руке изогнутую трубку английской работы, к которой при помощи специальных устройств подавался в определенном ритме табачный дым.

Что касается его самого, то он трубку курил только на людях, а усы носил накладные. Жил он совсем в другой комнате, в которой не было не то что окон, но даже дверей, а был потайной лаз через сейф с дверцами на две стороны, стоявший в официальном его кабинете.

Он любил эту комнату, где можно было быть самим собой: не курить трубку, не носить усы и вообще жить просто и скромно, соответственно обстановке, состоявшей из железной кровати с полосатым, набитым соломой матрацем, таза с теплой водой для умывания и старенького патефона с набором пластинок, на которых он собственноручно отмечал: хорошо, посредственно, замечательно, дрянь.

Здесь, в этой комнате, проводил он лучшие часы своей жизни тихо, спокойно; здесь, втайне от всех, жил иногда со старушкой-уборщицей, которая через тот же сейф пролезала к нему по утрам с веником и ведром. Он звал ее к себе, она по-деловому ставила веник в угол, отдавалась, а затем снова продолжала уборку. За многие годы он не обмолвился с ней ни словом и даже не знал толком, одна это старушка или каждый раз разные.

Но однажды с ней произошел странный случай: она вдруг стала закатывать глаза и шевелить беззвучно губами. Он испугался и спросил:

– Ты чего?

– Да вот я думаю, – с безмятежной улыбкой сказала старушка. – Плименница ко мне приезжает, братнина дочка. Угощение надо приготовить, а денег всего три рубли. То ли купить на два рубли пошена, а на рупь масла, то ли на два рубли масла, а на рупь пошена.

Его тогда глубоко тронула эта народная мудрость, и он написал записку на склад, чтобы старухе выдали сколько надо пшена и масла. Старуха, не будь дура, отнесла записку не на склад, а в Музей Революции, где получила такую сумму, что купила под Москвой домик, коровку, ушла с работы и, по слухам, до сих пор возит молоко на Тишинский рынок.

А он, вспоминая тот случай, часто говорил соратникам, что настоящему диалектическому мышлению надо учиться у народа.

Как-то, проводив старушку и оставшись один, он завел патефон и под музыку думал о чем-то великом. И под музыку вспомнилось ему далекое детство в маленьком кавказском городке, вспомнилась мать, простая женщина с морщинистым скорбным лицом, и отец, упорным и каждодневным трудом достигший заметных успехов в сапожном искусстве.

«Сосо, из тебя никогда не выйдет настоящий сапожник. Ты хитришь и экономишь на гвоздях», – говорил, бывало, отец, ударяя его колодкой по голове.

Это все не прошло даром, и теперь, в позднем возрасте, его часто мучили жестокие головные боли. Если бы отца воскресить и спросить: разве можно бить ребенка колодкой по голове? Как ему хотелось, как страстно хотелось воскресить отца и спросить...

Но сейчас его волновало другое. До него доходили мрачные слухи, что Адик, с которым он в последнее время крепко подружился, собирается изменить дружбе и перейти границу. Он считал себя самым вероломным человеком на свете и не мог поверить, что есть человек еще вероломнее. Его призывали приготовиться к защите от Адика, он эти призывы расценивал как провокацию и ничего не делал, чтобы не обидеть Адика напрасной подозрительностью. Самый подозрительный человек на земле, в отношениях с Адиком он был доверчив, как дитя.

Все же, чем ближе была самая короткая ночь, тем тревожнее было у него на душе. Боязно было оставаться в ту ночь одному.

* * *

Вечером, накануне самой короткой ночи, он надел свой выцветший полувоенный костюм, приладил под носом усы, раскурил трубку и стал тем, кем его знали все, то есть товарищем Кобой. Но прежде чем выйти в люди, он обратился к большому зеркалу, висевшему на стене против его кровати. С трубкой в руке мягкой походкой прошел он перед зеркалом туда и сюда, искоса поглядывая на свое отражение. Отражением он остался доволен. Оно передавало некоторую величественность отражаемого объекта, если не вглядываться слишком подробно. Но кто же позволит себе разглядывать товарища Кобу подробно? Усмехнувшись, товарищ Коба кивнул своему отражению и обычным путем, через сейф, пролез к себе в кабинет. Здесь он сел за стол и принял такую позу, словно работал, не отрываясь, целые сутки. Не меняя позы, нажал кнопку звонка. Вошел личный его секретарь товарищ Похлебышев.

– Послушай, дорогой, – сказал ему товарищ Коба, – что ты все ходишь со своими бумажками, как какой-то бюрократ, честное слово. Собери лучше наших ребят, пусть придут после работы, надо как-то отдохнуть, отвлечься, поболтать, повеселиться в дружеском тесном кругу.

Похлебышев вышел и вернулся.

– Все собрались и ждут вас, товарищ Коба.

– Очень хорошо, пускай подождут.

Он уже успел увлечься интереснейшим делом – вырезал из свежего номера «Огонька» портреты передовиков производства, мужские головы приклеивал к женским туловищам и наоборот. Получалась прелюбопытная композиция. Правда, заняла она у него довольно много времени.

Наконец он появился в той комнате, где его ожидали. На столе в три ряда стояли бутылки «Московской», «Боржоми» и сухого вина «Цинандали». Закуски тоже хватало. Ребята, во избежание путаницы, занимали за столом свои места в алфавитном порядке:

Леонтий Ария, Никола Борщев, Ефим Вершилов, Лазер Казанович, Жорж Меренков, Опанас Мирзоян и Мочеслав Молоков. При появлении Кобы все поднялись из-за стола и приветствовали вошедшего бурными аплодисментами и возгласами: «Да здравствует товарищ Коба!», «Слава товарищу Кобе!», «Товарищу Кобе ура!»

Товарищ Коба обежал глазами лица ребят и удивился, заметив свободное место между Вершиловым и Казановичем.

– А где же наш верный соратник товарищ Жбанов? – поинтересовался он.

Похлебышев выступил из-за его спины и доложил:

– Товарищ Жбанов просил разрешения задержаться. Его жена умирает в больнице, ей хочется, чтобы последние минуты он побыл рядом с ней.

Товарищ Коба нахмурился. По лицу его пробежала легкая тень.

– Интересное получается положение, – сказал он, не скрывая горькой иронии, – мы здесь собрались, ждем, а ему, видите ли, женский каприз дороже внимания товарищей. Ну что ж, подождем еще.

Сокрушенно покачав головой, он вышел и вернулся к себе в кабинет. Заниматься было вроде бы нечем, все картинки из «Огонька» он вырезал, остался только кроссворд. Он сунул кроссворд Похлебышеву.

– Ты читай, а я буду отгадывать. Что там у нас по горизонтали?

– «Первая грузинская нелегальная газета», – прочел Похлебышев и сам же закричал: – «Брдзола!» «Брдзола!»

– Что ты мне подсказываешь? – рассердился Коба. – Я и сам мог бы угадать, если б подумал. Ну ладно, теперь читай по вертикали.

– «Крупнейшее доисторическое животное», – прочел Похлебышев.

– Это очень просто, – сказал товарищ Коба. – Самое крупное животное – слон. Почему не пишешь «слон»?

– Не подходит, товарищ Коба, – робея, сказал секретарь.

– Не подходит? Ах да, доисторическое. Тогда пиши «мамонт».

Похлебышев склонился над кроссвордом, потыкал острием в клетки, поднял на товарища Кобу отчаянные глаза.

– Опять не подходит? – удивился Коба. – Да что же это такое? Разве может быть животное крупнее, чем мамонт? Дай-ка сюда. – Посасывая трубку, смотрел, считал, размышлял вслух: – Десять букв. Первая буква «бэ». Может быть, бармалей, нет? Нет. Баран, бурундук – все это довольно мелкие животные, как я понимаю. А что, если позвонить нам нашим видным ученым-биологам? Что нам гадать, пусть ответят научно: было животное на «бэ» крупнее, чем мамонт, или же не было. А если не было, то автору этого кроссворда я не завидую.

Поздно ночью в квартире академика Плешивенко раздался резкий телефонный звонок. Хриплый и властный голос срочно потребовал академика к аппарату.

Сонная жена академика сердито сказала в трубку:

– Товарищ Плешивенко не может подойти к телефону. Он не здоров и спит.

– Разбудить! – последовал короткий приказ.

– Как вы смеете! – возмутилась жена. – Вы знаете, с кем говорите?

– Знаю, – нетерпеливо ответил голос. – Разбудить!

– Но это безобразие! Я буду жаловаться! Я позвоню в милицию!

– Разбудить! – настаивал телефон. Но академик и сам уже пробудился.

– Троша, – кинулась к нему жена. – Троша, ты слышишь?

Троша недовольно взял трубку и услышал:

– Товарищ Плешивенко? Сейчас с вами будет говорить лично товарищ Коба.

– Товарищ Коба? – Плешивенко словно ветром сдуло с постели. В одних кальсонах, босой, стоял он на холодном полу. Жена со смешанным выражением счастья и ужаса стояла рядом.

– Товарищ Плешивенко, – раздался в трубке знакомый голос с кавказским акцентом, – извините, что звоню вам так поздно...

– Что вы, товарищ Коба... – захлебнулся Плешивенко. – Я так счастлив... Я и моя жена...

– Товарищ Плешивенко, – перебил Коба, – я вам, собственно говоря, звоню по делу. Тут у некоторых наших товарищей родилась довольно-таки смешная и необычная мысль: а что, если в целях поднятия производства мяса и молока вернуть в нашу фауну крупнейшее доисторическое животное... черт, никак не могу вспомнить название. Помню, что из десяти букв, на «бэ» начинается.

– Бронтозавр? – подумав, неуверенно спросил Плешивенко.

Коба быстро прикинул на пальцах:

– Бэ, рэ, о, нэ... – Прикрыл трубку ладонью и, подмигнув лукаво, шепнул Похлебышеву: – Запиши: «бронтозавр». – И громко сказал в трубку: – Совершенно верно. Именно бронтозавр. Как вы относитесь к этой идее?

– Товарищ Коба, – растерялся Плешивенко, – это очень смелая и оригинальная идея... То есть я хотел сказать, что это просто...

– Гениально! – очнувшись от оцепенения, ткнула академика кулаком в бок жена. Она не знала точно, о чем идет речь, она знала, что слово «гениально» в таких случаях никогда не бывает лишним.

– Это просто гениально! – решительно заявил академик, тараща глаза в пространство.

– Для меня это просто рабочая гипотеза, – скромно сказал товарищ Коба. – Сидим, работаем, думаем.

– Но это гениальная гипотеза, – смело возразил академик. – Это величественный план преобразования животного мира. Если только вы разрешите нашему институту взяться за разработку хотя бы отдельных аспектов проблемы...

– Мне кажется, об этом еще надо очень крепко подумать. Еще раз извините, что так поздно вам позвонил.

Плешивенко долго стоял с трубкой, прижатой к уху, и, напряженно вслушиваясь в далекие частые гудки, шептал благоговейно, но громко:

– Гений! Гений! Какое счастье, что мне довелось жить с ним в одну эпоху!

Академик не был уверен, что его слушают, но надеялся, что не без этого.

Когда товарищ Коба вернулся в общую комнату, все было в порядке: Антона Жбанова успели доставить и водворить на отведенное место. Леонтий Ария разлил водку в большие фужеры, товарищ Коба провозгласил первый тост.

– Дорогие друзья, – сказал он, – я пригласил вас сюда для того, чтобы в дружеском тесном кругу отметить самую короткую ночь, которая сейчас наступила, и самый длинный день, который придет ей на смену...

– Ура! – крикнул Вершилов.

– Не спеши, – поморщился Коба. – Ты всегда спешишь поперед бабки в пекло. Я хочу провозгласить тост за то, чтобы все наши ночи были короткие, чтобы все наши дни были длинные...

– Ура! – крикнул Вершилов.

– Тьфу ты, мать твою так! – Товарищ Коба, рассердившись, плюнул ему в лицо.

Вершилов смахнул плевок рукавом и осклабился.

– Я также хочу провозгласить тост за самого мудрого нашего деятеля, за самого стойкого революционера, за самого гениального...

Вершилов на всякий случай хотел еще раз крикнуть «ура!», зная, что каши маслом не испортишь, но товарищ Коба на этот раз успел плюнуть прямо в открытый для выкрика рот.

– ...за великого нашего практика и теоретика, за товарища... – Коба выдержал многозначительную паузу и четко закончил: – Молокова.

В комнате стало тихо. Меренков переглянулся с Мирзояном, Борщев расстегнул ворот украинской рубахи, Ария хлопнул в ладоши и схватился за задний карман, из которого выпирало что-то угловатое.

В дверях появились и застыли две безмолвные фигуры.

Молоков, бледнея, отставил фужер и, поднявшись на ноги, вцепился в спинку стула, чтоб не упасть.

– Товарищ Коба, – упрекнул он коснеющим языком, – за что? Зря обижаете. Вы же знаете, что я недостоин, что у меня и в мыслях ничего похожего не было. Вся моя скромная деятельность – только отражение ваших великих идей. Я, если можно так выразиться, только рядовой проповедник кобизма, величайшего учения нашей эпохи. Я, если прикажете, готов отдать за вас все, даже жизнь. Это вы самый стойкий революционер, вы – великий практик и теоретик...

– Гений! – провозгласил Ария, поднимая фужер левой рукой, так как правая лежала еще на кармане.

– Замечательный зодчий! – констатировал Меренков.

– Лучший друг армянского народа, – вставил Мирзоян.

– И украинского, – добавил Борщев.

– А ты, Антоша, что же молчишь? – обратился Коба к грустному Жбанову.

– А что говорить мне, товарищ Коба? – возразил Жбанов. – Товарищи очень хорошо осветили вашу разностороннюю роль в истории и в современной жизни. Мы, может быть, еще слишком мало об этом говорим, может быть, слишком стесняемся высоких слов, но ведь это же все правда, все это действительно так, и сама наша жизнь повседневно дает нам много наглядных примеров того, что кобизм все глубже и глубже проникает в сознание масс и становится поистине путеводной звездой для всего человечества. Но мне, товарищ Коба, хотелось бы здесь, в непринужденной товарищеской обстановке, напомнить еще об одном громадном таланте, которым вы обладаете и о котором с присущей вам скромностью не любите говорить. Я имею в виду ваш литературный талант. Да, товарищи, – возвысив голос, сказал он, обращаясь уже ко всем. – Недавно мне довелось еще раз перечитать стихи товарища Кобы, которые он подписывал псевдонимом Соселло. И я должен сказать со всей прямоотой, что стихи эти, как драгоценные жемчужины, могли бы украсить сокровищницу любой национальной литературы, всей мировой литературы, и если бы был жив сейчас Пушкин...

И тут Жбанов заплакал.

– Ура! – крикнул Вершилов, на этот раз тихо и безвозмездно.

Обстановка разрядилась. Леонтий хлопнул в ладоши – две безмолвные фигуры возле дверей испарились. Товарищ Коба смахнул со щеки набежавшую внезапно слезу. Может быть, он не любил, когда ему говорили такие слова. Но еще больше он не любил, когда ему таких слов не говорили.

– Спасибо, дорогие друзья, – сказал он, хотя слезы мешали ему говорить. – Спасибо за то, что вы так высоко цените мои скромные заслуги перед народом. Я лично думаю, что мое учение, которое вы так удачно называли кобизмом, действительно хорошо не потому, что оно – мое учение, а потому, что оно передовое учение. И вы, дорогие друзья, вложили немало сил

для того, чтобы сделать его действительно таковым передовым. Так выпьем же без ложной скромности за кобизм.

– За кобизм! За кобизм! – подхватили товарищи. Хлопнули по фужеру, потом еще. После четвертого фужера товарищ Коба решил поразвлечься и попросил Борщева сплясать гопака.

– У тебя, хохол, это очень хорошо получается, – поощрил он.

Борщев с места пошел вприсядку, Жбанов аккомпанировал на рояле, остальные прихлопывали в ладоши.

В это время бесшумный помощник принес Жбанову телеграмму, в которой сообщалось, что жена Жбанова скончалась в больнице. Это сообщение рассердило Жбанова.

– Не мешайте мне, – сказал он помощнику. – Вы же видите, что я занят.

Помощник удалился. Пока еще твердой походкой подошел лично товарищ Коба. Шершавой мужской ладонью погладил он верного соратника по голове.

– Ты настоящий большевик, Антоша, – сказал он проникновенно.

Жбанов поднял на учителя преданные и полные слез глаза.

– Играй, играй, – сказал товарищ Коба. – Из тебя мог бы получиться очень большой музыкант. Но все силы, весь свой талант ты отдаешь нашей партии, нашему народу.

Коба отошел к столу и сел напротив Молокова, Мирзояна и Меренкова, которые о чем-то толковали между собой.

– О чем беседа? – поинтересовался товарищ Коба.

– Мы говорим, – охотно отозвался Молоков, сидевший в центре, – что контракт с Адиком, заключенный по вашей инициативе, был весьма мудрым и своевременным.

Коба нахмурился. В свете поступавших сообщений меньше всего ему хотелось вспоминать об этом проклятом контракте.

– Интересно, – сказал он, глядя в упор на Молокова, – интересно мне знать, Моча, почему ты носишь очки?

Снова запахло грозой. Жбанов стал играть несколько тише. Борщев, приседая, поглядывал то на Молокова, то на Кобу. Меренков с Мирзояном на всякий случай отодвинулись, каждый к своему краю стола.

Молоков, белый как полотно, поднялся на непослушные ноги и, не зная, что сказать, молча смотрел на товарища Кобу.

– Так ты не можешь сказать мне, почему ты носишь очки?

Молоков молчал.

– А я знаю. Я очень хорошо знаю, почему ты носишь очки. Но я тебе этого пока не скажу. Я хочу, чтобы ты сам подумал своей головой и сказал мне правду, почему ты носишь очки.

Погрозив Молокову пальцем, Коба вдруг уронил голову в тарелку с зеленым горошком и тут же заснул.

– Надо ноги размять, – бодро сказал Мирзоян и с независимым видом вылез из-за стола. Вылез и Меренков. Пользуясь бесконтрольностью, Вершилов и Казанович сели в угол сыграть в картишки. Борщев, не получивший разрешения на отдых, все еще плясал под аккомпанемент Жбанова, но уже халтурил и не приседал, а лишь слегка подгибал ноги.

Ария играл сам с собой в «ножички».

Эта мирная картина неожиданно рухнула. Вершилов вдруг размахнулся и врезал Казановичу звонкую оплеуху. Казанович не стерпел и с визгом вцепился ногтями в лицо Вершилова. Покатились по полу.

Разбуженный шумом, поднял голову лично товарищ Коба. Заметив это, Борщев с новой силой пустился вприсядку, Жбанов заиграл в более быстром темпе, а Меренков и Мирзоян в такт музыке снова стали прихлопывать.

– Хватит, – сердито махнул рукой Коба Борщеву. – Отдохни.

Никола, шатаясь, подошел к столу и выпил фужер «Боржоми».

Вершилов и Казанович, рассыпав карты, все еще катались по полу. Казановичу удалось схватить противника за правое ухо, Вершилов же норовил ударить Казановича коленом ниже живота. Коба подозвал Арию.

– Послушай, Леонтий, что это за люди? Это наши вожди или же гладиаторы?

Ария, отряхнув колени, стоял перед Кобой с кривым кавказским кинжалом, тем самым, которым он только что играл в «ножички».

– Разнять, что ли? – мрачно спросил Ария, пробуя лезвие ногтем.

– Будь добр. Только, пожалуйста, убери кинжал. Не дай Бог, случится несчастье.

Леонтий засунул кинжал за пояс, подошел к дерущимся и дал пинка сперва одному, а затем и другому. Оба вскочили на ноги и предстали перед товарищем Кобой в весьма неприглядном виде. Вершилов размазывал по лицу кровь, Казанович осторожно трогал налившийся под левым глазом синяк.

– Ну и ну! – покачал головой Коба. – И этим людям наш народ доверил свою судьбу. Во что это вы играли?

Враги смущенно потупились.

– Ну, я вас спрашиваю. – Казанович исподлобья глянул на Кобу.

– В буру, товарищ Коба.

– В буру?

– Просто так, товарищ Коба. Просто ради шутки.

– Не понимаю, – товарищ Коба развел руками. – Кто здесь находится? Вожди? Руководители? Или просто блатная компания? И что же вы не поделили?

– Жид передергивает, – выступил вперед Вершилов.

– Что это за слово такое – жид? – сердито спросил Коба.

– Извиняюсь, еврей, – поправился Вершилов.

– Глупый человек, – вздохнул Коба. – Антисемит. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты бросил эти свои великодержавные замашки. Даю тебе неделю сроку, чтобы ты изучил все мои работы по национальному вопросу. Ты понял меня?

– Понял.

– Иди. А ты, Казанович, тоже ведешь себя не совсем правильно. Вы, евреи, своим вызывающим поведением и своим видом создаете самую лучшую почву для антисемитизма. Я уже устал от борьбы с антисемитами, и когда-нибудь мне эта борьба надоест.

Он хотел развить эту мысль, но появился Похлебышев.

– Товарищ Коба, поступило донесение: войска Адика подошли вплотную к границе.

От этих слов неуютно стало товарищу Кобе.

– Подойди сюда, – сказал он секретарю. – Наклони голову.

Он взял со стола погасшую трубку и стал выбивать ее о лысеющее темя Похлебышева.

– Адик – мой друг, – сказал он, как бы вколачивая эти слова в голову секретаря. – У нас на Кавказе существует обычай горою стоять за друга. Можно простить, когда обижают сестру или брата, можно простить, когда обижают отца или мать, но когда обижают друга, простить нельзя. Обижая моего друга, ты обижаешь меня.

Он бросил трубку на стол и пальцем поднял подбородок Похлебышева. По лицу Похлебышева текли крупные слезы.

– О, ты плачешь! – удивился товарищ Коба. – Почему же ты плачешь, скажи мне?

– Я плачу потому, что вы так трогательно говорили о дружбе, – сказал Похлебышев, всхлипывая и дергая носом.

Товарищ Коба смягчился.

– Ну ладно, – сказал он потеплевшим голосом. – Я знаю, что ты хороший человек, ты только с виду такой суровый. Пойди отдохни и скажи доктору – пусть помажет тебе голову йодом. Не дай Бог, получится заражение.

После этого товарищ Коба собрал всех к столу и предложил выпить за дружбу.

– Товарищ Коба, – спросил Молоков, – мне тоже можно выпить с вами?

Коба ничего не ответил, пропустил вопрос мимо ушей. Молоков подержал фужер с водкой и, ни на что не решившись, поставил на место.

Затем товарищ Коба выразил желание немного помузицировать. Он подошел к роялю и, аккомпанируя себе одним пальцем, исполнил известную частушку следующего содержания:

Я на горке была,
Я Егорке дала...
Не подумайте плохого,
Я махорки дала.

Все дружно засмеялись и заплодировали. Товарищ Жбанов в короткой речи отметил высокие художественные достоинства произведения. Вершилов, достав из кармана блокнот и огрызок химического карандаша, попросил разрешения тут же списать слова.

– Я тоже спишу, – сказал Борщев. – Жинке завтра спою. Вот будет смеяться.

– Пускай посмеется. – Коба вернулся на свое место за столом, сел и, подложив под голову руки, тут же заснул.

Наступал самый ранний в то лето рассвет. За окном постепенно светлело, словно чернила понемногу разбавляли водой. На фоне светлевшего неба все резче очерчивались и становились все выпуклее золотые маковки церквей.

Выпито было немало, вся компания слегка притомилась. Товарищ Коба спал за столом. Ария, держась за задний карман, полулежа дремал на диване. Мирзоян громко храпел под столом, упиравшись подошвой в щеку Меренкова. Молоков с каменным лицом, не рискуя пошевелиться, сидел перед товарищем Кобой. Казанович с Вершиловым, помирившись, играли в карты. Жбанов в другом углу, упершись лбом в холодную стену, пытался блевать. Один только Борщев тихо бродил по комнате с таким сосредоточенным видом, словно что-то потерял и хотел найти. Он, кажется, протрезвел, и теперь голова болела с похмелья и наполнялась неясными мрачными мыслями. Сочувственно морщась, он постоял возле Жбанова и порекомендовал ему старое народное средство – два пальца в рот. Жбанов промычал что-то неопределенное и помотал головой. Борщев подошел к картежникам и стал следить за игрой просто из любопытства, но Вершилов его вскоре прогнал. Борщев посмотрел на Леонтия и, убедившись, что тот спит, подсел к Молокову, соблюдая, однако, некоторую дистанцию. Стремясь обратить на себя внимание соседа, шумно вздохнул. Молоков, не поворачивая головы, скосил глаза на Борщева. Тот подмигнул в ответ и сказал шепотом:

– Ты бы очки снял покамест. Товарищ Коба в последнее время нервный ходит, и ты его не дражни. Потом забудет, обратно наденешь. – Он схватил со стола огурец, надкусил и выплюнул: огурец был горький. Покопался на Кобу и снова вздохнул. – Трудно с им, конечно, работать. Ведь не простой человек – гений. А я-то тут при чем? Я раньше на шахте работал, уголь долбал. Работа нельзя сказать чтобы очень чистая, но жить можно. А теперь вот в вожди попал и портреты мои по улицам перед народом носят. А какой из меня вождь, если все мое образование – три класса да ВПШ. Вы-то все люди выдающие. Теоретики. Про тебя в народе слух ходит, будто двенадцать языков знаешь. А я вот, к примеру, считаюсь будто как украинец и жил на Украине, а языка ихнего, хоть убей, не понимаю. Чудной он какой-то.

По-нашему, скажем, лестница, а по-ихнему драбина. – Словно впервые пораженный странностями непонятного ему языка, Борщев засмеялся.

Улыбнулся и Молоков. Слухи о его познаниях в иностранных языках были сильно преувеличены. Просто товарищ Коба когда-то для поднятия авторитета вождей наделил их достоинствами, о которых они раньше не подозревали. Так Меренков стал крупнейшим философом и теоретиком кобизма, Мирзоян – коммерсантом, Казанович – техником, Ария – психологом, Вершилов – замечательным полководцем, Жбанов – специалистом по всем искусствам, Борщев – украинцем, а он, Молоков, зная несколько чужих слов и выражений, – полиглотом.

Ничего этого Молоков своему собеседнику, естественно, не сказал, а сказал только, что и ему здесь живется не сладко.

– Да я нешто не вижу, – вздохнул Борщев. – Это ж надо совесть какую иметь – из-за очков придирается. Почему, мол, носишь очки. А может, тебе так нравится. Да я бы, на мой характер, – загорелся Никола, – ему за такие слова в рожу бы плюнул, не постеснялся.

В это время товарищ Коба пошевелился. Борщев замер, холодея от ужаса, но тревога оказалась напрасной – товарищ Коба пошевелился, но не проснулся. «Вот дурак-то, – с облегчением подумал про себя Никола. – Вот уж правда язык без костей. Да с таким языком ой как вляпаться можно!» Он решил больше не разговаривать со своим опальным коллегой, но, не удержавшись, снова склонился к уху Молокова.

– Слушай, Мочеслав, – зашептал он, – а что, если попроситься у него, чтоб отпустил? Ведь ежели он гений, так пускай сам все и решает. А мы-то ему на кой?

– Ну да, – сказал Молоков. – А жить на что?

– А в шахту пойдем. Уголь долбать я тебя научу – дело простое. Снизу пласт подрубаешь, сверху отваливаешь. Заработки, конечно, не то что у нас, но зато ж и риску меньше. Завалить-то может, но это ж один раз, а тут каждый день помираешь от страха.

Он вздрогнул и выпрямился, услышав сзади чье-то дыхание. Сзади стоял Ария. Почесывая за ухом рукояткой кинжала, он переводил любопытный взгляд с одного собеседника на другого.

– О чем, интересно, такой увлекательный разговор? – спросил он, подражая интонации товарища Кобы.

«Слышал или нет?» – мелькнуло у обоих одновременно.

«Слышал», – решил Молоков и тут же нашел самый верный выход из положения.

– Да вот товарищ Борщев, – сказал он с легким сарказмом, – предлагает мне вместе с ним отстраниться от активной деятельности, уйти во внутреннюю эмиграцию.

Но Борщев был тоже парень не промах.

– Дурак ты! – сказал он, поднимаясь и расправляя грудь. – Я тебя только пощупать хотел, чем ты дышишь. Тебе все равно никто не поверит, все знают, я очки не ношу, я ясными глазами смотрю в глаза товарища Кобы и в светлые дали прекрасного будущего.

– Вот именно что «будущего», – передразнил Молоков. – Ты бы русский язык сперва подучил, а потом...

Фразу он не закончил. К счастью для обоих, в комнату ворвался Похлебышев с перебинтованной головой.

– Товарищ Коба! Товарищ Коба! – закричал он с порога, за что тут же получил по уху от Леонтия.

– Ты разве не видишь, – сказал Леонтий, – что товарищ Коба занят предутренним сном? Что там еще случилось?

Похлебышев трясся от необычайного возбуждения и повторял одно слово: «Адик». С большим трудом удалось из него выжать, что войска Адика хлынули через границу.

Тут же состоялось экстренное, специальное и чрезвычайное заседание. Председательствовал Леонтий Ария. Почетным председателем был избран спавший тут же товарищ Коба. Стали думать, как быть. Вершилов сказал, что необходимо объявить всеобщую мобилизацию. Казанович предложил немедленно взорвать все мосты и вокзалы. Мирзоян, взяв слово для реплики, заметил, что, хотя они собрались своевременно и в деловой обстановке, нельзя не учитывать факта присутствия и одновременно отсутствия товарища Кобы.

– Мы, – сказал он, – конечно, можем принять то или иное решение, но ведь не секрет, что никто из нас не гарантирован от серьезных ошибок...

– Но ведь мы представляем собой коллектив, – сказал Казанович.

– Коллектив, товарищ Казанович, состоит, как вам известно, из отдельных личностей. Если одна личность может совершить одну ошибку, несколько личностей могут совершить несколько ошибок. Безошибочно мудрое и правильное решение может принять только один человек. Этот человек – товарищ Коба, но он, к сожалению, занят сейчас предутренным сном.

– Что значит «к сожалению»? – вмешался Леонтий Ария. – В этом вопросе я должен поправить товарища Мирзояна. Это большое счастье, что в такое трудное для всех нас время товарищ Коба занят предутренным сном, накапливает силы для дальнейшего принятия самых мудрых решений.

В порядке ведения слово взял Меренков. Он сказал:

– Целиком и полностью поддерживаю товарища Арию, который вовремя одернул за непродуманное выступление товарища Мирзояна. По всей видимости, товарищ Мирзоян не имел преступного умысла, и данное его высказывание следует считать простой оговоркой, хотя, конечно, иногда бывает довольно затруднительно провести достаточно четкую грань между простой оговоркой и продуманным преступлением. В то же время, я думаю, было бы целесообразно признать правоту товарища Мирзояна, считающего, что только товарищ Коба может принять правильное, мудрое и принципиальное решение по поводу вероломного нападения Адика. Однако в связи с этим встает и другой вопрос, требующий незамедлительного разрешения, вопрос, который я предлагаю немедленно обсудить: будить ли товарища Кобу сейчас или подождать, пока он проснется сам?

По этому вопросу мнения товарищей разделились. Некоторые полагали, что надо будить, другие предлагали подождать, потому что товарищ Коба сам знает, когда ему нужно спать, когда просыпаться.

Товарищ Жбанов, несмотря на только что сообщенную ему весть и нездоровье от отравления алкоголем, принял активное участие в прениях и сказал, что, прежде чем решать вопрос о том, будить ли товарища Кобу, необходимо решить предыдущий, так сказать, под-вопрос, насколько серьезны намерения Адика и не есть ли это только провокация, направленная к перерыву сна товарища Кобы. Но решить, серьезное это нападение или же провокация, может опять-таки только лично товарищ Коба.

В конце концов были поставлены на голосование два вопроса:

1. Разбудить товарища Кобу.
2. Не будить товарища Кобу.

Результаты голосования по обоим вопросам были такие:

Кто за? Никто. Кто против? Никто. Кто воздержался? Никто.

В протоколе было записано, что решения по обоим вопросам приняты единогласно. Товарищу Мирзояну было указано на непродуманность некоторых его высказываний.

После составления протокола неожиданно в порядке дополнения взял слово товарищ Молоков. Он понял, что спасение его сейчас только в активных действиях, и сказал, что ввиду сложившейся ситуации он намерен немедленно разбудить товарища Кобу и взять на себя ответственность за все последствия своего поступка. После этого он решительно подошел к товарищу Кобе и стал трясти его за плечо:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.